



ЛИТЕРАТУРА

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ

НА
ОДНОЙ
ВОЛНЕ

ЕВРЕЙСКИЕ МОТИВЫ
В РУССКОЙ ПОЭЗИИ

10

БИБЛИОТЕКА "АЛИЯ"

На одной волне

מוטיבים יהודיים בשירה הרוסית

ציריית חיפה
בנידחת חזקות הפנאי
לעולם לעולם
ספריה - ספריה
.....

384

ספרייה של הפודום
חיפה • חיפה •
БИБЛИОТЕКА СИОНИСТСКОГО
ФОРУМА • ХАЙФА •

2592

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ

ЕВРЕЙСКИЕ МОТИВЫ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ

Составила
ТАМАР ДОЛЖАНСКАЯ

БИБЛИОТЕКА "АЛИЯ"

ציור העטיפה : שרה ברקאי



כל הזכויות שמורות

ל"ספריה עליה"

היוצאת לאור בסיוע :

האגודה לחקר תפוצות ישראל, ירושלים

וקרן זיכרון לתרבות יהודית, ניו יורק

דפוס "דבר"

תל־אביב / 1974

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ

Народ мой, слушай:

до конца
не досказать, быть может, мне,
но наши — вслушайся! — сердца
вещают на одной волне.

Маген.

Мы открываем наш сборник эпиграфом из стихотворения поэта-неосиониста Магена. Его строки, дошедшие к нам из Советского Союза, хорошо определяют то, что руководило нами при выборе материала. Мы вслушиваемся в голоса поэтов, «вещающих на одной волне» или на смежных волнах, — на волнах еврейской трагедии, еврейской боли, еврейской веры и надежды, еврейских достижений.

И все же наш сборник может показаться разноголосым. Тут и стихи палестинофилов и сионистов прошлого века и первой половины нашего (Фруг, Жаботинский) и поэтов-неосионистов в Советском Союзе (Маген, Сэтер). Наряду с ними даны и произведения общепризнанных в советской литературе поэтов-евреев разных поколений, начиная с Маршака, Эренбурга, Антокольского и следующих за ними Липкина, Маргариты Алигер, Слуцкого. Сюда же включены советские поэты, по-видимому, совсем молодые, известные

нам по немногим — иногда по одному — стихотворениям на еврейские темы (Баух, Ася Векслер, Глазов). Мы приводим и стихи опальных советских поэтов замечательного дарования (Мандельштам, Бродский).

Как пришли поэты-евреи, пишущие на русском языке и включившиеся в русскую поэзию, к еврейской теме? Даже беглому взгляду сразу открываются две дороги, приведшие к ней. Одна из них исходит из первоначальной среды поэта, из всего комплекса впечатлений его детства, неразрывно связанных с еврейским народом и навсегда обусловивших эту связь. Другую была дорога поэтов, не вросших корнями в еврейство, выросших в ассимилированной среде или рано включившихся в нее. Их — временно или навсегда — вернула родному народу настигшая их еврейская судьба.

Взращен еврейством, внедрен в него был поэт старшего поколения **Самуил Маршак** (1887—1964). В молодости он был пишущим по-русски еврейским поэтом, — еврейским не только по происхождению, но и по всему содержанию своего творчества. Активный член партии Поалей-Цион, он всем комплексом своих чувств, переживаний, чаяний не отличался от других национальных еврейских поэтов того времени. Он начал, как Фруг, с библейских мотивов, переводил с идиш и с иврита, откликался на все происходившее в

еврействе. Когда умер Герцль, двое — Жаботинский и Маршак, тогда семнадцатилетний, — запечатлели всенародное потрясение в надгробных элегиях.

Он побывал в Палестине десятых годов, и впечатления от этого путешествия обогатили его душу и стали для него неиссякаемым родником утешения и надежды:

Когда в глазах темно от горя,
я вспоминаю край отцов...

Этому краю посвящен цикл его стихов «Палестина», созвучных поэзии Рахели и других палестинских поэтов тех лет. Как они, Маршак пишет о «Самсоновом труде» еврейских пионеров, об их борьбе с враждебной средой, с одичалой природой запустелой родной страны, о «лихорадке, губившей молодую мощь», о поисках воды и рытье колодцев и о том, как «с тех пор возник среди пустыни один оазис за другим». И наряду с романтикой борьбы и достижений он, конечно, упивается в древней стране и романтикой далекого прошлого, воскресшего в его воображении. Обе эти тяги — к прошлому и настоящему Палестины — сливаются у него в одну. Он так и говорит: здесь неотделимо все происходящее на глазах от самой седой старины. Вот, например, его воспоминания о «деревне бедной Анатот», родине трагического пророка:

Не плиты предков гробовые
меня пленяли стариной:
восстав из праха, Еремия
стоял в деревне предо мной.
И «Плач», что в день девятый Аба
отец мой медленно читал,
у скромной хижины араба
из уст пророка прозвучал.

Значит, вот откуда тянутся все нити от прошлого к настоящему: они тянутся от отца, который, как рассказано в автобиографической книге «В начале жизни», «детство и юность провел над страницами древнееврейских духовных книг», потом круто повернул свою жизнь, но, видно, так до конца и не оторвался от мира, открывшегося ему в этих книгах; они тянутся от дедовского дома в Витебске, где «дедушка молился или читал свои большие, толстые в кожаных переплетах книги», и от самого шагаловского Витебска, где «всюду слышалась торопливая и в то же время певучая еврейская речь, — и даже с лошадью старик-извозчик разговаривал по-еврейски»; они тянутся от учителя еврейского языка, который «запечатлелся в памяти неизгладимо — весь целиком, со всей своей бедностью, терпением и добротой», — от всего поколением отстоявшегося еврейско-русского быта с его теплотой и одухотворенностью.

В годы молодости Маршака этот быт еще

...Я жив. Дышу. Люблю людей.
Но жизнь бывает мне постыла,
как только вспомню: это — было!
Мужчины мучили детей!

В поколении, выросшем до революции, были и поэты, в начале жизни подышавшие еврейским воздухом, пожившие в еврейском быту, а потом совершенно оторвавшиеся от него. И после многих лет житейского и душевного отрыва их вновь повлекло к еврейству, почувствовали потребность отождествиться с ним под ошеломляющим впечатлением гитлеровских изуверств.

Илья Эренбург, описывая в пространной автобиографической книге «Люди, годы, жизнь» свое детство в еврейской среде, рассказывает, главным образом, о том, чего эта среда ему не дала:

«Я родился в Киеве, мой родной язык русский. Я не знаю ни идиш, ни древнееврейского языка. ...Никакому Богу — ни еврейскому, ни русскому — я не молился. ...Все мои годы неотделимы от русской жизни. ...Идеи сионистов, связанные с древней историей, никогда меня не увлекали».

И Эренбург, как Маршак, тоже прожил часть детства в дедовском доме, проникнутом еврейской религией. Но его воспоминания об еврейском детстве не взлелеяны, не сохранены с бережной любовью, и от них

веет не маршаковской теплотой и романтикой, а отчужденностью и скукой:

«Дед по матери был благочестивым стариком с окладистой серебристой бородой. В его доме строго соблюдались все религиозные правила. В субботу нужно было отдыхать, и этот отдых не позволял взрослым курить, а детям проказничать (Еврейская суббота столь же уныла, как английское пуританское воскресенье)».

Правда, мать Эренбурга тоже была религиозной, и родным языком ее был и остался еврейский, но и это не повлияло на мироощущение подраставшего сына. А через много лет он напишет:

Горе! Открылась старая рана —
мать мою звали по имени Ханна.

Эта рана не закроется снова. Поздно осознанная связь с родным народом не оборвется, потому что — как говорит на эту тему Маргарита Алигер — ее узел «туго затянут на большой крови». Эренбург пишет:

«Меня связывают с евреями рвы, где гитлеровцы закапывали в землю старух и младенцев, в прошлом — реки крови, в последующем — сорняки, проросшие из расистских семян, живучесть предубеждений и предрассудков».

Это из автобиографии. О том же говорится и в поэзии Эренбурга. Мир опустошен и

обезлюден, сведен к гетто, к Бабьему Яру и к другим ярам. Везде ему мерещатся убитые и заслоняют мир живых, отовсюду слышатся их голоса, заглушающие все звуки жизни:

...Теперь мне каждый яр знаком
и каждый яр теперь мне дом.
Я этой женщине любимой
когда-то руки целовал,
хотя, когда я был с живыми,
я этой женщины не знал.
Мое дитя! Мои румяна!
Моя несметная родня!
Я слышу, как из каждой ямы
вы окликаете меня.

Читая стихи Эренбурга тех лет, невозможно не вспомнить о поэте совсем другого толка, о нашем Бялике, писавшем после очередной бойни:

...В целом мире я будто на плахе.

Та же опустошенность, та же безнадежность сказывается и в стихах другого поэта эренбургского поколения и эренбургской настроенности **Павла Антокольского**. Его прежние годы тоже, по-видимому, были «неотделимы от русской жизни» и не совпали с жизнью еврейства. Потом и он, как Эренбург, потянулся к родному народу, но тут ему показалось, что он вернулся слишком поздно, и он содрогнулся от ужаса. Этим чувством пронизано потрясающе сильное стихотворение «Теряются следы»:

...Нет и следа — ни в городах Европы,
ни на одной из мыслимых планет,
ни в черной толще земляной Утробы,
ни в небе, ни в аду — их больше нет.

К боли и к отчаянию примешалось жгучее
раскаяние за то, что не пришел он к своей
нации вовремя, не жил ее жизнью, пока не
разразилась гроза, пока

...еще твоих запястий не коснулись
наручники, с упряницей борясь,
еще тебя сквозь строй варшавских улиц,
не прогнала шпицрутенами мразь,
не подступили прямо к горлу комья
сырой земли у страшных тех ворот.

Тяжелое чувство вины гнетет поэта. Он мо-
лит простить ему «три столетья опоздания и
два тысячелетья немоты», жаждет невозмож-
ного, заклинает:

Очнись, дитя библейского народа!
Газ или плетка, иль глоток свинца, —
встань, юная! В делах такого рода,
в такой любви не может быть конца.
Я для свиданья нашего построил
висячие над вечностью мосты.
Все мирозданье слышит:
— Шма, Исроэль! —
и пышет алым пламенем.

А ты?

С неудержимой силой прорвалось подспудное еврейское чувство, когда-то возникшее, по-видимому, на основе семейных преданий, правда, необычных:

Мой дед-ваятель ждал тебя полвека,
врубаясь в мрамор маленьким резцом.

Так пришло осознание непрерывности цепи поколений, в которой он — одно из звеньев; и уже наготове очередное звено, подросток — сын «полуеврей», памяти которого посвящена поэма «Сын». И в нем теплится тот же огонь, который неминуемо вспыхнет от соприкосновения с еврейской действительностью:

...Почувствуй же, каким преданьем
древним
Повеяло от смуглого чела!
Ведь молодость, так быстро догорев
в нем,
сама клубиться дымом начала —
горячим пеплом всех сожженных библий,
всех польских гетто и концлагерей —
за всех, за всех, которые погибли,
он, полурусский и полуеврей,
проснулся для войны от летаргии
младенческой...

Так непостижимы и неотвратимы пути еврейского духа к потрясению и гибели.

Некоторые из советских поэтов-евреев, молодость которых совпала с годами нацистского нашествия, тогда лишь впервые установили свою принадлежность к еврейству. В их рассказах об этом открытии поражает та полная неожиданность, то недоумение, смешанное с ужасом, которое охватило их, когда еврейская судьба постучалась к ним в дверь.

Маргарита Алигер рассказывает в поэме «Твоя победа», как она обнаружила свою связь с еврейским народом. Одна из глав поэмы посвящена ее старой матери, которую разразившаяся гроза вырвала из родной Одессы и забросила в заволжскую даль. Дочь навещает там мать, и при виде этой длинной и разрушенной жизни почва уходит из-под ее ног. Она испуганно спрашивает: «Кто же это гонится за нами? Кто же мы такие — я с тобой?» .

...Разжигая печь и руки грея,
Наскоро устраиваясь жить,
мать моя сказала: «Мы евреи.
Как ты смела это позабыть?»

Ответ дочери так же прям и недвусмыслен, как вопрос матери: да, она забыла о своем народе, и только осатанелые враги сумели внушить ей, кто она.

..Это правда, мама, я забыла,
я совсем представить не могла,
что глядеть на небо голубое
можно только исподволь, тайком,
потому что это нас с тобою
гонят на Треблинку босиком,
душат газом, в душегубках губят,
жгут, стреляют, вешают и рубят,
смешивают с грязью и песком.

Первая ее реакция — страстный протест. Пошатнувшись от ужаса и обиды, она тут же спрашивает с возмущенным недоумением: «Почему? За что? Какого черта?» Ответа на свой вопрос Алигер ищет у евреев разных поколений, чей вклад в сокровищницу человеческого духа велик:

...В чем мы провинились, Генрих Гейне?
Чем не угодили, Мендельсон?
Я спрошу и Маркса и Эйнштейна,
что великой мудростью полны, —
может, им открылась эта тайна
нашей перед вечностью вины?

И еще один разряд людей вправе сказать свое слово в этом трагическом диалоге, и к нему тоже обращен вопрос поэта:

Я спрошу потомков Маккавеев,
кровных сыновей своих отцов,
тысячи воюющих евреев —
русских командиров и бойцов.

Отвечайте мне, во имя чести
племени, гонимого в веках,
мальчики, пропавшие без вести,
мальчики, погибшие в боях.

Это было написано в сталинское время. Алигер, как и Антокольский в поэме «Сын»¹, без обиняков утверждает, что еврейская молодежь воевала на советских фронтах, защищая еврейскую честь.

Негодование, ненависть нарастают и осиливают смятение. Маргарита Алигер одарена большой силой преодоления, волей к жизни, устоявшей в жестоких испытаниях. Исторический фатализм, которым пронизаны стихи многих других поэтов на еврейские темы, чужд ей, и она отказывается поверить в обреченность еврейства:

... и народ, владеющий оружием,
думающий, страстный и живой,
жизнелюб кипучий и горячий
никаким не будет стерт врагом.
Мы живем. Не смеет быть иначе!
Говорю вам русским языком:
мы живем и дышим...

Так вернулась Алигер к своему народу. Навсегда ли? Ответа на этот вопрос у нас нет. Восемнадцатая глава поэмы «Твоя победа» —

¹) Антокольским — отцу и сыну — и гибели сына посвящена тринадцатая глава поэмы «Твоя победа».

единственное ее произведение на еврейскую тему, дошедшее до нас. Однако еврейской настроенностью овеяны и некоторые другие ее стихотворения. В нашем сборнике дано одно из них — «Нюрнберг». В нем нет ни слова о еврействе, но, кажется, написать такое стихотворение мог только еврейский поэт. Путешествуя по зарубежью шестидесятых годов, она посещает и «государство некое в Западной Европе» и осматривает Нюрнберг. Днем она впитывает в себя пестрые впечатления, а ночью «город, много видевший, старый и угрюмый» заводит странный и жуткий разговор с еврейской женщиной, уцелевшей от нацистской бойни:

...двадцать лет нечаянно ты живешь
на свете, —
тут тебя убили бы двадцать лет назад.

Видно, смятение, завладевшее душой в черные дни, не улеглось до конца.

Мы даем в нашем сборнике и произведения еврейских коммунистов двадцатых годов — **Багрицкого, Светлова и Уткина**. В них тоже проявлена еврейская сущность, хотя совсем по другому. Эти поэты открещивались от сионизма, верили, что спасение от всех бед в коммунизме и, казалось, были для еврейства отрезанным ломтем. И все-таки они не сумели внутренне оторваться от родного

народа и то и дело возвращались к нему в своем творчестве. Так включились в русскую поэзию того десятилетия приглушенно звучащие еврейские мотивы.

Главной темой этих поэтов была романтика революции и гражданской войны. В этом смысле они подлинные советские поэты, поэты военного коммунизма. Да и в еврейской тематике они остаются советскими поэтами: судят о нашем прошлом с позиции революционного настоящего и славят революцию, выпрямившую душу забитого и приниженного еврея.

Но если и нет в их поэзии национального самосознания, все же двое из них — Светлов и Уткин — проникнуты национализмом бытовым. Они выросли в традиционной еврейской среде и любят ее и тоскуют по ней, как тоскует человек по своему детству. Так, Уткин спрашивает:

Да разве дворцами сломите
маленькие, заплатанные —
знаете — домики,
где смеялись и плакали?

Подробнее и сильнее говорит на эту тему Светлов. Все впечатления детства — старый ребе, хедер, синагога, теперь опустевшая, — не меркнут для него «в огне полыхающих красногвардейских костров». Даже стоя у кремлевской стены, где похоронены герои и

вожди революции, не может этот еврейский коммунист не подумать о другой Стене, с детства памятной ему по рассказам ребе:

... Помнится:

мальчиком я Тору разворачивал.

Ребе все твердил

про народ свой под Стеною Плача

у разрушенных израильских твердынь.

За горами,

на востоке дальнем,

ту Стену Господь сберег

и велел еврею

быть печальным,

и велел молиться на восток.

Есть еще другое впечатление детства, которого не вырвать из памяти ни одному из еврейских поэтов, — впечатление зверских издевательств и убийств. Все трое — каждый по своему — пишут о еврейских погромах.

Багрицкому и тут не изменяет зоркий и точный глаз художника. В стихотворении «Разговор с сыном» он воспроизводит ужасную картину во всех ее жестоких и отвратительных подробностях:

... Слегка склонясь,

в красных рубашках, в чуйках суконных,

ражие лабазники, утапывая грязь,

на чистом полотенце несут икону...

И матерой купчина с размаху — хлоп
в грязь, и жадно протягивает руки.
Обезьяна из чиновников крестит лоб.
Лезут приложиться свирепые старухи.
Пух из перин, как стая голубей...
Улица настезь распахнута... И дикий
вой над вселенной качается: «Бей!
Рраз!» И подвал захлебнулся в крике.

Уткин, наоборот, говорит о погроме предельно коротко, придушенным голосом, как будто слова застревают у него в горле:

Трудно сказать про омут,
а омут стоит у рта:
всего... два... погрома...
И Мотэле стал сирота.

В Светлове же воспоминания о резне будят и обнажают вековечного еврея и обращают его мысль к Тому, от Кого ждали помощи и возмездия неисчислимые поколения травимых отверженцев:

Словно в очередь к Богу,
вразвалку лежат мертвецы.
Засыхает слюна
над застрявшей в гортани
отсыревшей полоской мацы.

Чтобы спрятать свой стыд,
чтобы скрыть свой позор от людей,
небеса над землей
опускают ночной горизонт.

Снова приходит на память Бялик, его «Сказание о погроме», потрясшее еврейство в начале века, и слово Бога поэту на кладбище, «где лежат они, закланные ягнята»:

...бытием Моим клянусь тебе Я сам —
без слез: огромна скорбь, но и огромен
срам,
и что огромное — ответь, сын
человечий!
Иль лучше промолчи... Молчи! Без слов
и речи
им о стыде Моем свидетелем ты будь...

Очевидно, бывают моменты, когда евреи самых полярных умонастроений одинаково воспринимают трагедию своего народа, и их отклики на нее тождественны.

Мучительная двойственность терзает Светлова. Он всей душой хочет поверить в совершенство нового, творимого на его глазах, мира. Но отравленному еврейской болью и еврейской обидой, ему не удастся утешиться верой в то, что «с Интернационалом воспрянет род людской».

Нас же, давно свыкшихся с мыслью, что евреи, добровольно включившиеся в борьбу и в строительство Советского Союза, безнадежно отчуждены и безвозвратно ушли от нас, особенно поражает эта яркая вспышка еврейской искры, с такой силой разгоревшейся в душах наших интернационалистов.

Наконец, в наш сборник включено немало произведений поэтов неевреев. С тех незапамятных времен, когда впервые возникла та — по слову Бабея — «черная подлость, которую так длинно и скучно называют антисемитизмом», создалось в еврействе и понятие «хасидей умот олам». Точно перевести его, кажется, нельзя, а приблизительно оно означает неевреев заступников еврейства. В данном случае речь идет о русских поэтах, которые не могли пройти мимо трагической еврейской судьбы, не отозвавшись на нее, как неукротимый бунтарь против любой неправды **Владимир Маяковский**, как современные **Вознесенский** и особенно **Евтушенко**, целиком отождествившийся с еврейской болью. Вспомним его «Бабий Яр»:

...Мне кажется сейчас —
я иудей...

... Мне кажется, что Дрейфус —
это я...

... Мне кажется —
я — это Анна Франк...

...Я —
каждый здесь расстрелянный
старик,
я —
каждый здесь расстрелянный
ребенок.

Большим другом нашего народа был и большой русский поэт **Иван Бунин**. Его любовь к еврейству сказалась в цикле стихов, написанных в 1907 году после поездки в Палестину. Здесь он остро почувствовал горькую красоту древней, тогда еще совсем пустынной страны. В преданиях и поверьях, услышанных от убогого иерусалимского еврея, ему открылась вековая неразрывная связь между рассеянными по всему миру изгнанниками и их запущенной, одичалой, неизменно прекрасной прародиной; он постиг их мессианские чаяния, услышал страстные заклинания:

«да родит край отцов только камень и
мак!
да исчахнет в нем всяческий злок!
да пребудет он гол, иссушен, нелюдим
до прихода реченного Им!»

Не одному Бунину евреи представлялись прежде всего народом Библии. Немало других поэтов его и смежных с ним поколений были христианами по вере и по духу, и их влекло к иудаизму, истоку христианства. И поэтому гонения, которым подвергали евреев их же соотечественники, тоже считавшие себя христианами, особенно больно уязвляли их совесть. Об этом много писал поэт-философ **Владимир Соловьев**:

«Как христианин я сознаю, что обязан иудейству величайшей благодарностью, ибо мой Спаситель был иудеем по плоти; иудеями же были и пророки и апостолы; и краеугольный камень вселенской церкви взят в доме израилевом; а как славянин, я чувствую великую вину против еврейства и хотел бы искупить ее, чем только могу».

И если прошлое еврейства возбуждает благодарность и преклонение, а настоящее причиняет боль и стыд за соплеменников, угнетающих евреев, то в будущее еврейского народа Соловьев верит беспредельно:

«...И как некогда цвет еврейства послужил восприимчивой средой для воплощения божества, так грядущий Израиль послужит деятельным посредником для очеловечения материальной жизни и природы, для создания новой земли, где правда живет».

Идея всемирно-исторической миссии еврейского народа была близка поэтам и мыслителям соловьевского толка: Израиль — народ избранный Богом, чтобы через него открыть всем другим народам земли последнюю таинственную цель жизни и спасти их духовную сущность от грозящего разложения и гибели. Неизбежно наступит день, когда это будет понято даже хулителями еврейства, и они скажут, как тысячи лет назад провидел пророк:

«Он был презрен и умален перед людьми, ... и мы отвращали от него лицо свое ... Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши, ... и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу; и Господь возложил на него грехи всех нас». Исаия 53, ст. 3—6.

Эту философию истории, от века возникшую в еврействе, восприняли и полностью приняли русские поэты-христиане. Больше ста лет назад **Лев Мей** писал:

Теперь гонимей нет, несчастней нет
народа,
нет ни к кому такой, как к ним, жидам,
вражды,
но там, где понят Бог и понят
природа,
езде они — жиды, жиды, жиды, жиды!

В нашем столетии этой теме посвящены стихи трех русских женщин-поэтов. В годы петлюровщины **Мария Шкапская** писала в стихотворении «Израилю»:

...И снова пуст твой дом и обезлюден
кров,
и дождь по-прежнему уныло каплет

над кущами украинских садов,
где в дни погромов прячут вдоль канав
головки темные измученные дети —
наследники страдания и прав,
еще непрореченных в Назарете.

Тогда же впечатление от погромов и еврейской отверженности потрясли молодую **Марину Цветаеву** и побудили ее по-карамазовски «возвратить билет на вход в жизнь»:

...Ибо для каждого, кто не гад,
еврейский погром —
жизнь...

... — только выкрестов терпит,

лишь

овец — палачу!

Право — на жительство свой лист
но-гами топчу!

А в зрелый период жизни и творчества, когда начался разгул гитлеризма, Цветаева, как прежде Шкапская, увидела в еврейской судьбе все ту же трагическую преемственность:

По всей земле — от края и до края —
распятие и снятие с креста.

С последним из сынов твоих, Израиль,
воинстину мы погребем Христа.

Иначе отозвалась на происходившее **Мать Мария**. Она во всем видела только изъявление божественной воли и призывала еврейство вновь проявить ту несокрушимую духовную силу, с которой оно шло до сих пор сквозь строй тысячелетних гонений:

Израиль, ты опять гоним,
но что людская воля злая,
когда тебе в грозе Синая
вновь отвечает Элогим?

Мать Мария, называвшаяся до пострижения **Елизаветой Кузьминой-Каравасовой**, по видимому, почти забыта на своей родине. Но мы должны знать и помнить о ней. Ее любовь к нашему народу и вера в него сказались не только в стихах. Муками и жизнью она расплатилась за них.

Она начала свой творческий путь в среде петербургской богемы. В 1919 году эмигрировала в Париж, и в начале тридцатых годов постриглась там. С приходом немцев она всецело и бесстрашно отдалась помощи их жертвам, особенно спасению еврейских детей. Ее арестовали и увезли в лагерь смерти Равенсбрюк. Там она добровольно пошла в газовую камеру, заменив собой другую заключенную — мать маленького ребенка.

Страницы нашего сборника испещрены трагическими названиями: Кишинев, Трелинка, Освенцим, Майданек, Бухенвальд, Бабий Яр — вся жуткая география еврейской диаспоры двадцатого века. И тот, кто не мыслит себя вне этой диаспоры, навсегда отравлен ее ядом, и его душевный климат пронизан неизбывным предчувствием нового этапа извечной драмы. С особенной остротой сказалось это гнетущее ожидание в стихотворении Галича «Поезд», посвященном памяти яркого выразителя еврейского духа, загубленного сталинским террором, Михоэлса:

От скорости века в сонности
Живем мы, в живых не значась.
Непротивление совести —
удобнейшее из чудачеств!
И только порой под сердцем
кольнет тоскливо и гневно:
уходит наш поезд в Освенцим!
Наш поезд уходит в Освенцим!
Сегодня и ежедневно..

И не превозмочь бы леденящую душу безнадежность, если бы не вступила в силу другая еврейская география, если бы тут же рядом не мерцали совсем другие названия: Синай, Палестина, Израиль, Иерусалим, Галилея. Ужас еврейского мартиролога от века озарялся светом этих названий, идущим из

глубины нашей истории. Теперь же, когда древние времена снова включились в самую подлинную нашу действительность, когда еврейские старина и современность слились нераздельно, этот свет несет не только грустное утешение, как прежде. В нем залог преодоления векового проклятия диаспоры и радость обновления.

Тамара Должанская

В 1971 г. администрация и редакция библиотеки «Алия» поручили составление этой антологии Тамаре Должанской. В течение года антология была составлена. Однако, из-за технических неполадок напечатание книги было, к сожалению, задержано до сих пор.

МАРГАРИТА АЛИГЕР

1915

«МАМА, МАМА, НИ СЛЕЗЫ, НИ СЛОВА!»

(Из поэмы «Твоя победа»)

Мама, мама, ни слезы, ни слова!
Не помогут слезы и слова.
В старости лишившаяся крова,
чем же ты довольна и жива?
Вышло так, что мы с тобой чужие,
розно и по-разному живем,
но на южном берегу России
у меня всегда был мамин дом.
Там всё та же милая посуда,
там всё та же вкусная еда.
Если мне придется очень худо,
я еще смогу уйти туда.
Вырастают и уходят дети,
но порой напоминает кровь:
есть еще пристанище на свете —
эта беззаветная любовь.

Но удар безжалостного грома
уничтожил твой надежный лад,
у тебя отныне нету дома,
над тобою зарева горят.
Затемнив покой и благородство,
проступило через бездны лет
дикое обугленное сходство
с теми, у кого отчизны нет,

чью признав невинность в приговоре
злого и неправого суда,
содрогнулась чермная вода,
ахнуло и расступилось море,
для кого опресноки сухие
божье солнце щедро напекло.
Сколько от Египта до России
верст, песков и судеб пролегло?
Мама, мама, в вечности туманной
страдным непроторенным путем,
сколько до земли обетованной
ты брела под солнцем и дождем?
Ты в ночи узнала эту землю
и, припав к святому рубежу,
прошептала, плача: «Всё приемлю,
силы и любви не пощажу.
Дай мне лишь дымок оседлой жизни,
душу согревающий очаг!»
Мама! Мама! Ты в своей отчизне,
но в ее пределы вторгся враг.
Гром гремит, гроза ревет и стонет,
и как легкий высохший листок,
из родного дома вихрем гонит
мать мою с заката на восток.
Вот какой он, городок на Каме.
Он надолго ль стал твоей судьбой?
Кто же это гонится за нами?
Кто же мы такие — я с тобой?
Разжигая печь и руки грея,
наскоро устраиваясь жить,
мать моя сказала: «Мы евреи.
Как ты смела это позабыть?»

Да, я смела, — понимаешь? — смела.
Было так безоблачно вокруг.
Я об этом вспомнить не успела, —
с детства было как-то недосуг.
Родины себе не выбирают.
Начиная видеть и дышать,
родину на свете получают
непреложно, как отца и мать.
Дни стояли сизые, косые,
непогода улицы мела.
Родилась я осенью в России
и меня Россия приняла, —
напоила беспокойной кровью,
водами живого родника,
обожгла недоброю любовью
русского шального мужика.

Было трудно, может быть труднее,
только мне на всё достанет сил.
Разве может быть страна роднее
той страны, где верил и любил?
той страны, которая взростила,
стать большой и гордой помогла?
Это правда, мама, я забыла,
я совсем представить не могла,
что глядеть на небо голубое
можно только исподволь, тайком,
потому что это нас с тобою
гонят на Трешлинку босиком,
душат газом, в душегубках губят,
жгут, стреляют, вешают и рубят,
смешивают с грязью и песком.

«Мы — народ во прахе распростертый,
мы — народ повергнутый врагом»...
Почему? За что? Какого чёрта?
Мой народ, я знаю о другом.
Знаю я поэтов и ученых
разных стран, наречий и веков,
по-ребячьи жизнью увлеченных,
благородных, грустных шутников.
Лорелея, девушка на Рейне,
старых струй зеленый полутон.
В чем мы провинились, Генрих Гейне?
Чем не угодили, Мендельсон?
Я спрошу и Маркса и Эйнштейна,
что великой мудростью полны, —
может, им открылась эта тайна
нашей перед вечностью вины?
Милые полотна Левитана —
доброе свечение берез,
Чарли Чаплин с бледного экрана, —
вы ответьте мне на мой вопрос:
разве всё, чем были мы богаты,
мы не роздали без лишних слов?
Чем же мы пред миром виноваты,
Эренбург, Багрицкий и Светлов?
Жили щедро, не тая талантов,
не жалея лучших сил души.
Я спрошу врачей и музыкантов,
тружеников малых и больших.
Я спрошу потомков Маккавеев,
кровных сыновей своих отцов,
тысячи воюющих евреев —
русских командиров и бойцов.

Отвечайте мне во имя чести
племени, гонимого в веках,
мальчики, пропавшие без вести,
мальчики, погибшие в боях.
Поколенья взрослых на свободе
в молодом отечестве своем,
мы забыли о своем народе,
но фашисты помнили о нем.
Вековечный запах униженья,
причитанья матерей и жен.
В смертных лагерях уничтоженья
мой народ расстрелян и сожжен.
Танками раздавленные дети,
этикетка «Jud» и кличка «жид».
Нас уже почти что нет на свете,
но мы знаем, время воскресит.

Мы — евреи. Сколько в этом слове
горечи и беспокойных лет.
Я не знаю, есть ли голос крови,
только знаю: есть у крови цвет.
Этим цветом землю обагрила
сволочь, заклеянная в веках,
и людская кровь заговорила
в смертный час на многих языках.
Вот теперь я слышу голос крови,
смертный стон народа моего.
Всё слышней, всё ближе, всё суровой
истовый подземный зов его.
Голос крови. Тесно слита вместе
наша несмываемая кровь,
и одна у нас дорога мести,
и едины ярость и любовь.

На большой крови затянут туже
узел нашей связи вековой, —
и народ, владеющий оружием,
думающий, страстный и живой,
жизнелюб, кипучий и горячий
никаким не будет стёрт врагом.
Мы живем. Не смеет быть иначе!
Говорю вам русским языком:
мы живем и дышим. Слышишь, мама?
Слышишь, мать мужающих детей?
Дочь твоя стоит легко и прямо
на большом скрещении путей...
На земле, в которой очень много
Наших слез и крови и труда,
На земле богатой, сильной, строгой,
На земле любимой навсегда.

1945

НЮРНБЕРГ

Пестрыми стекляшками, как в калейдоскопе,
всё вокруг мелькает целый день подряд.
...Государство некое в Западной Европе.
Всё благополучно. Всё идет на лад.

Утром разноцветные пухлые перины,
словно крем со сливками, брезжат из окон.
Целый день беснуются жирные витрины.
Только где-то за полночь гасится неон.

И когда стихают уличные шумы,
вся многоголосица городского дня, —
город, много видевший, старый и угрюмый,
словно наступает на меня.

Никакой опасностью мне не угрожая,
он глядит настойчиво из каждого угла:
— «Как ты поживаешь, женщина чужая?
Что ты за день видела? Что ты поняла?

«Что ты хочешь высмотреть? Я тебя приметил..
Я тебе напомню, хоть и невпопад:
двадцать лет нечаянно ты живешь на свете, —
тут тебя убили бы двадцать лет назад.

«Никаких сомнений! Тебя бы тут убили.
Двадцать лет нечаянных! Двадцать лет судьбы!
Двадцать лет любила ты и тебя любили..
Ничего бы не было, если бы... кабы...

«Никогда бы не было этой нашей встречи.
А случилось встретиться... Вот ведь как теперь!»

Я лежу и слушаю каменные речи.
Жду, что день вмешается, хлопнет чья-то дверь..
Поскорей очнуться бы в Западной Европе,
вспомнить, что за время и какой режим.

В номере гостиницы, как в чужом окопе,
пахнет чем-то жутким, мертвым и чужим.

ПАВЕЛ АНТОКОЛЬСКИЙ

1896

ЛАГЕРЬ УНИЧТОЖЕНИЯ

... И тогда подошла к нам, желта, как лимон,
та старушка в три тысячи лет,
в кацавейке, в платке допотопных времен,
еле двигавший ноги скелет.

Синеватые пряди ее парика
гофрированы были едва.

И старушечья в синих прожилках рука
показала на оползни рва:

— «Извините. Я шла по дорожным столбам,
по местечкам, сожженным дотла.

Вы не знаете, где мои мальчики, пан?
Не заметили, где их тела?

«Извините меня. Я глуха и слепа.
Может быть, среди польских равнин,
может быть, эти сломанные черепа —
мой Иосиф и мой Веньямин?

«Ведь у вас под ногами не щебень хрустел.
Эта черная жирная пыль —
это прах человеческих обугленных тел». —
Так сказала старуха Рахиль.

И пошли мы за ней по полям. И глаза
застилала нам часто слеза.

А вокруг золотые сияли леса,
поздней осени польской краса.

Там травы золотой сожжена полоса.
Не гуляют ни серп, ни коса.
Только шепчутся там голоса, голоса,
тихо шепчутся там голоса:

— «Мы мертвы. Мы в обнимку друг с другом лежим.
Мы прижались к любимым своим.
А сейчас обращаемся только к чужим
и от них ничего не таим.

«Сосчитайте по выбоинам на земле,
по лохмотьям истлевших одежд,
по осколкам стекла, по игрушкам в золе,
сколько было тут светлых надежд.

«Сколько света и хлеба украли у нас,
сколько детских засыпали глаз,
сколько девичьих рук, не сплетясь, расплелось,
сколько иссиня-черных волос...

«Сколько крохотных туфель и легких чулок
ветер по свету гнал и волок,
сколько стоили фосфор, и кровь, и белок
в подземельях берлинских берлог...

«Эти звезды и эти цветы — это мы!
Торопились кончать палачи, —
потому что глаза им слепили из тьмы
наших жизней нагие лучи.

«Банки с газом и пули истрачены все.
Смерть во всей ее жалкой красе
убегала от нас по асфальту шоссе,
потому что в вечерней росе,

«в трепетанье травы, в лепетанье листвы,
в очертанье седых облаков —
понимаете вы? — мы уже не мертвы,
мы воскресли на веки веков».

СЫН

(Из поэмы)

1

... Ты, может быть, встречался с этим рослым,
веселым, смуглым школьником Москвы,
когда, райкомом комсомола послан
копать противотанковые рвы,
он уезжал. Шли многие ребята
из Пресни, от Кропоткинских ворот,
из центра, из Сокольников, с Арбата, —
горластый, бойкий, боевой народ.

... А может быть, встречался ты и раньше
с каким-нибудь из наших сыновей —
на Черном море или на Ламанше,
на всей планете солнечной твоей.
В какой стране, под гул каких прелюдий
на фабрике, на рынке иль в порту
тот смуглый школьник пробирался в люди,
рассчитывающий на доброту
случайности... И если, наблюдая,
узнать его ты ближе захотел,
ответила ли гордость молодая?
Иль в суете твоих вседневных дел
ты позабыл, что этот смуглый, стройный,

одним из нас рожденный человек
рос на планете, где бушуют войны,
и грудью встретил свой железный век?

Уже он был жандармом схвачен в Праге,
допрошен в Брюгге, в Бергене избит,
уже три дня он прятался в овраге
от черной своры завтрашних обид.

... Пойди за ним, — за юношей, ведомым
по черному асфальту на расстрел.
Останови его за крайним домом,
пока он пустыря не рассмотрел.
А если и не сын родной, а ближний
в глазах шпииков гестаповских возник,
запутай след его на свежей лыжне
и сам пройди невидимо сквозь них.
В их черных списках все подростки мира,
вся поросль человеческой весны.
От Пиреней до древнего Памира
они в зловещих поисках точны.

Почувствуй же, каким преданьем древним
повеяло от смуглого чела!

Ведь молодость, так быстро догорев в нем,
сама клубиться дымом начала —
горячим пеплом всех сожженных библий,
всех польских гетто и концлагерей —
за всех, за всех, которые погибли,
он, полурусский и полуеврей,
проснулся для войны от летаргии
младенческой и ощутил одно:
всё делать так, как делают другие.
Всё остальное здесь предрешено.

Не опоздай! Сядь рядом с ним на парте,
пока погоня дверь не сорвала.
По крайней мере, затемни на карте
в районе Жиздры, западней Орла,
ту крохотную точку, на которой
ему навеки постлана постель,
завесь окно своею снежной шторой,
летающая над городом метель!
Опять, опять к тебе я обращаюсь:
безумная, бесшумная, пойми —
я с сыном никогда не отпрощаюсь.
Так повелось от века меж людьми.
И вот опять он рядом, мой ребенок.
Так повелось от века, что еще
ты не найдешь его меж погребенных, —
он только спит и дышит горячо.
Не разбуди до срока. Ты — старуха,
а он — дитя. Ты — музыка, а он, —
к несчастью, с детства не лишенный слуха,
он будущее чувствует сквозь сон.

2

Ответьте, суша и моря,
века, и вы ответьте,
что правды, большей, чем моя,
не может быть на свете.

Я не один. Все старики,
все Иовы вселенной, —
мы и в отчаянье крепки,
нам горе по колено.

И после всех былых погонь

команда раздается:

— Огонь!

— Огонь!

— Еще огонь! —

И сердце сына бьется.

Сын человеческий встает,

каким он был когда-то.

Кровь человеческая бьет

из черных ран солдата.

Пускай сводящая с ума

не стихнет канонада.

А я не врач, — я боль сама,

и ей конца не надо.

1943

«ТЕРЯЮТСЯ СЛЕДЫ»

Теряются следы в тысячелетних

скитаньях по сожженным городам,

в песках за Бабьим Яром, в черных сплетнях,

на черных рынках, в рухляди, — а там

прожектора вдоль горизонта шарят,

ползут по рвам, елозят по мостам.

А где-то жгут, дробят, кромсают, жарят,

гноят за ржавой проволокой, — а там

сочувствует ханжа, и жметя скаред,

и лжесвидетель по шпаргалке шпарит,

и журналист строчит уже, — а там

нет и следа — ни в городах Европы,
ни на одной из мыслимых планет,
ни в черной толще земляной Утробы,
ни в небе, ни в аду, — их больше нет.

Лежит брусками данцигское мыло,
что выварено из костей и жил.
Здесь чья-то жизнь двумя крылами взмыла
и кончилась, чтоб я на свете жил.

Чья жизнь? Чья смерть бездомна и бессонна?
В венце каких смолистых черных кос,
в каком сиянье белого виссона
ступила ты на смертный тот откос?

Прости мне три столетья опоздания
и два тысячелетья немоты.
Опять мы разминулись поездами
на станции, где отпылала ты.

Дай мне рукою прискоснуться к коже,
прильнуть губами к смуглому плечу.
Я всё про то же, — слышишь? — всё про то же,
но сам забыл, про что же я шепчу.

Мой дед-ваятель ждал тебя полвека,
врубаясь в мрамор маленьким резцом,
чтоб ты явилась взгляду человека
с таким вот точно девичьим лицом.

Еще твоих запястий не коснулись
наручники, с упряницей борясь.
Еще тебя сквозь строй варшавских улиц
не прогнала шпицрутенами мразь.

И колкий гравий — прах костедробилок —
не окровавил этих нежных ног.

И злобная карга не разрубила
жизнь пополам, прокаркав: «Варте нох!»

Не подступили прямо к горлу комья
сырой земли у страшных тех ворот.
Жить на земле! Что проще и знакомей,
чем черный хлеб и синий кислород...

Но что бы ни сказал тебе я, что бы
ни выдумал страннее и святей,
я вырву только стебель из чащобы
на перегное всех твоих смертей.

И твой ребенок, впившийся навеки
бессмертными губами в твой сосок,
не видит сквозь засыпанные веки,
как этот стебель зелен и высок.

Охрипли трубы, струны отзвучали.
Смычки сломались в пальцах скрипачей.
Чьим ты была весельем? Чьей печалью?
Чьей Суламифью? — Может быть, ничьей.

Очнись, дитя библейского народа!
Газ или плетка, иль глоток свинца, —
встань, юная! В делах такого рода,
в такой любви не может быть конца.

В такую ночь безжалостно распахнут
небесный купол в празелени звезд,
сверкает море, розы душно пахнут
сквозь сотни лет, за сотни тысяч верст.

Я для свиданья нашего построил
висячие над вечностью мосты.

Всё мирозданье слышит:

— Шма, Исроэль!¹

и пышет алым пламенем.

А ты?

¹) «Слушай, Израиль!» — первые слова библейской молитвы (Второзаконие 6, 4), провозглашающей основной догмат еврейской веры — единобожие. Во времена инквизиции и погромов евреи произносили эту молитву перед смертью.

ЭДУАРД БАГРИЦКИЙ

1895—1934

ДУМА ПРО ОПАНАСА

(Из поэмы)

I

По откосам виноградник
хлопочет листвою,
где бежит Панько из Балты
дорогой степною.

Звездный Воз дорогу кажет
в поднебесье чистом —
на дебелие хозяйства
к немцам-колонистам.

Опанасе, не дай маху,
оглядись толково —
видишь черную папаху
у сторожевого?

Знать, от совести нечистой
ты бежал из Балты,
топал к Штолю-колонисту,
а к Махне попал ты.

У Махна по самы плечи
волосня густая.

— «Ты откуда, человеце,
из какого края?

В нашу армию попал ты
волей иль неволей?»

— «Я, батько, бежал из Балты
к колонисту Штолю.
Ой, грызет меня досада,
крепкая обида!
Я бежал из продотряда
от Когана-жида...
По оврагам и по скатам
Коган волком рыщет,
залезает носом в хаты,
которые чище!
Глянет влево, глянет вправо,
засопит сердито:
— Выгребайте из канавы
спрятанное жито! —
Ну, а кто подымет бучу —
не шуми, братишка:
усом в мусорную кучу,
расстрелять — и крышка!..
Чернозем потек болотом
от крови и пота, —
не хочу махать винтовкой,
хочу на работу!
Ой, батько, скажи на милость
пришедшему с поля,
где хозяйство поместилось
колониста Штоля?»
— Штоль? Который, человеце?
Рыжий да щербатый?
Он застрелен недалече,
за углом от хаты...
А тебе дорога вышла
бедовать со мною.

Повернешь обратно дышло —
пулей рот закрою!
Дайте шубу Опанасу
сукна городского!
Поднесите Опанасу
вина молодого!
Сапоги подколотите
кованым железом!
Дайте шапку, наградите
бомбой и обрезом!
Мы пойдем с тобой далече —
от края до края!»...
У Махна по самы плечи
волосня густая...
Украина! Мать родная!
Жито молодое!
Опанасу доля вышла
бедовать с Махною.
Украина! Мать родная!
Молодое жито!
Шли мы раньше в запорожцы,
а теперь — в бандиты!

II

Зашумело Гуляй-Поле
от страшного пляса, —
ходит гоголем по воле
скакун Опанаса.
Опанас глядит картиной
в папахе косматой,
шуба с мертвого раввина

под Гомелем снята.
Шуба — платье меховое —
распахнута — жарко!
Френч английского покроя
добыт за Вапняркой.
На руке с нагайкой крепкой
жеребьяче мыло;
револьвер висит на цепке
от паникадила.
Опанасе, наша доля
туманом повита, —
хлеборобом хочешь в поле,
а идешь — бандитом!
Полетишь дорогой чистой,
залетишь в ворота;
бить жидов и коммунистов —
легкая работа!
Стонет стоном Гуляй-Поле
от страшного пляса —
ходит гоголем по воле
скакун Опанаса...

III

Хлеба собрано немного —
не скрипеть подводам.
В хате ужинает Коган
житняком и медом.
В хате ужинает Коган,
молоко хлебает,
большевицким разговором
мужиков смущает:

— «Я прошу ответить честно,
прямо, без уклона:
сколько в волости окрестной
варят самогона?
Что посевы? Как налоги?
Падают ли овцы?» —
В это время по дороге
топают махновцы...
По дороге пляшут кони,
в землю бьют копыта.
Опанас из-под ладони
озирает жито.
...Хуторские псы, пляшите
на гремучей стали:
словно перепела в жите
Когана поймали.
Повели его дорогой
сизою, степною, —
встретился Иосиф Коган
с Нестором Махно!
Поглядел Махно сурово,
покачал башкою,
не сказал Махно ни слова,
а махнул рукою!
Ой, дожил Иосиф Коган
до смертного часа,
коль сошлась его дорога
с путем Опанаса!
Опанас отставил ногу,
стоит и гордится:
— Здравствуйте, товарищ Коган,
пожалуйте бриться!

IV

Тополей седая стая,
воздух тополиный...
Украина, мать родная,
песня-Украина!..
Всходит солнце боевое
над степной дорогой,
на дороге нынче двое —
Опанас и Коган.
Над пылающим порогом
зной дымит и тает.
Комиссар, товарищ Коган,
барахло скидает...
Растеклось на белом теле
солнце молодое.
— «На, Панько, когда застрелишь,
возьмешь остальное!
Пары брюк не пожалею,
пригодятся дома, —
все же бывший продармеец,
хороший знакомый!».. —
Всходит солнце боевое,
кукурузу сушит,
в кукурузе ветер воет
Опанасу в уши:
— «За волами шел когда-то,
воевал солдатом, —
ты ли в сахарное утро
в степь выходишь катом?»
И раскинутая в плясе
голосит округа:
— «Опанасе! Опанасе!

Катюга! Катюга!»

...То ль от зноя, то ль от стона
подошла усталость.

Повернулся:

— «Три патрона
в обойме осталось»...

Кровь — постылая обуза
мужицкому сыну...

— «Утекай же в кукурузу —
я выстрелю в спину.

Не свалю тебя ударом,
разгуливай с богом!..»

Поправляет окуляры,
улыбаясь, Коган:

— «Опанас, работай чисто,
мушкой не моргая.

Неудобно коммунисту
бегать, как борзая!

Прямо кинешься — в тумане
омуты речные,

вправо — немцы-хуторяне,
влево — часовые!

Лучше я погибну в поле
от пули бесчестной!..»

Тишина в степном раздолье,
только выстрел треснул,
только Коган дрогнул слабо,
только ахнул Коган,
начал сваливаться набок,
падать понемногу...
От железного удара

над бровями сгусток.
Поглядишь за окуляры:
холодно и пусто...
С Черноморья по дорогам
пыль несется плясом.
Носом в пыль зарылся Коган
перед Опанасом...

ЭПИЛОГ

Протекли над Украиной
боевые годы.
Отшумели, отгудели
молодые воды...
Я не знаю, где зарыты
Опанаса кости —
может, под кустом ракиты,
может, на погосте...
... За бандитскими степями
не гремят копыта:
над горячими костями
зацветает жито.
Над костями голубеет
непроглядный омут;
да идет красноармеец
на побывку к дому...
Остановится и глянет
синими глазами
на бездомный круглый камень
вымытый дождями.
И нагнется и подымет
одинокий камень:

на ладони — белый череп
с дыркой над глазами.
И промолвит он, почуяв
мертвую прохладу:
— «Ты глядел в глаза винтовке,
ты погиб, как надо!» —
И пойдет через равнину,
через омут зноя,
в молодую Украину,
в жито молодое...

Так пускай и я погибну
у Попова лога,
гой же славною кончиной,
как Иосиф Коган!

1926

РАЗГОВОР С СЫНОМ

Я прохожу по бульварам. Свист
в легких деревьях. Гудит аллея.
Орденосом осени ржавый лист
силою ветра к груди приклеен.
Сын мой! Четырнадцать лет прошло.
Ты пионер — и осенний воздух
жарко глотаешь. На смуглый лоб
падают листья, цветы и звезды.
Этот октябрьский праздничный день
полон отеческой грозной ласки,
это тебе — этих флагов тень,
красноармейцев литые каски.
Мир в этих толпах — он наш навек...
Топот шагов и оркестров гомон,

грохот загруженных камнем рек,
вой проводов — это он. Кругом он.
...Вспомним о прошлом...

Слегка склоняясь,
в красных рубашках, в чуйках суконных,
ражие лабазники, утапывая грязь,
на чистом полотенце несут икону..
И матерой купчина с размаху — хлоп
в грязь, и жадно протягивает руки.
Обезьяна из чиновников крестит лоб.
Лезут приложиться свирепые старухи.
Пух из перин, как стая голубей..
Улица настезь распахнута... И, дикий
вой над вселенной качается: «Бей!
Рраз!» И подвал захлебнулся в крике.
Сын мой, сосед мой, товарищ мой,
ты руку свою положи на плечо мне, —
мы вместе шагаем в холод и зной,
и ветер свежей, и счастье огромней.
Там, где погром проходил, рыча,
там, где лабазник дышал надсадно,
мы на широких несем плечах
жажду победы и груз громадный.
Пусть истребитель на бешеной заре
отпечатан черным фашистским знаком —
большие знамена пылают на горе
чудовищным воспаленным маком.
Время настанет — и мы пройдем,
сын мой, с тобой по дорогам света..
Братья с Востока к плечу плечом
с братьями освобожденной планеты.

1931.

«ОН ЛЕПИЛ ХЛЕБ ИЗ ПЕСКА»

Он лепил хлеб из песка, он был занят
в солнечном полдне лета,
печальный карлик с большими глазами,
маленький мальчик из гетто.

И вдруг из горла вырвался смех,
а он ведь не знал, что́ это,
но понял по лицам, что это грех, —
маленький мальчик из гетто.

А ночью над ним, качая бороду,
с глазами печально-мудрыми
пел молитвы дедушка Борух,
сухой и желтый, как мумия.

Потом старики накрывались белым,
худыми ладонями пол мели,
садились в ряд, шептали и пели, —
недвижные белые холмики.

Наверно, трудно разжалобить Бога:
столько слезных молитв было пето!
Он был ребенком, но знал он много,
маленький мальчик из гетто.

Печальный карлик с большими глазами,
он был не из одиночек:
звезды были ему друзьями.
Не желтые. Те, из ночи,

белые звезды.

Он видел их ясно,
он ждал и смотрел на них часто так.
Он знал: лишь звезды станут красными,
всем будет свободно и счастливо.

Ах, облачком стать бы, помчаться с ветрами
к тем звездам. Придете ли скоро вы?
Я мальчик, мне плохо, и папе, и маме,
и бабе, и дедушке Боруху.

Потом их заставили рано подняться.
Сказали, что там будет лучше...
Труба пребоольшая.

Так вот, где рожатся
красивые черные тучки!

Зачем же он плачет, мой дедушка старый?
Ведь он и не знает, что это...
Ты счастлив, родной.

Ты облачком станешь,
маленький мальчик из гетто.

... Был мир.

И дети катали обручи
в солнечных полднях лета.
И тихо плыло над ними облачко —
маленький мальчик из гетто.

ИОСИФ БРОДСКИЙ

1940

«ЕВРЕЙСКОЕ КЛАДБИЩЕ ОКОЛО ЛЕНИНГРАДА»

Еврейское кладбище около Ленинграда.
Кривой забор из гнилой фанеры.
За кривым забором лежат рядом
юристы, торговцы, музыканты, революционеры.

Для себя пели.

Для себя копили.

Для других умирали.

Но сначала платили налоги,

уважали пристава,

и в этом мире, безвыходно материальном,
толковали Талмуд,

оставаясь идеалистами.

Может, видели больше.

Может, верили слепо.

Но учили детей, чтобы были терпимы

и стали упорны.

И не сеяли хлеба.

Никогда не сеяли хлеба.

Просто сами ложились

в холодную землю, как зерна.

А потом их землей засыпали,

зажигали свечи,

и в день поминовения

голодные старики с высокими голосами,

задыхаясь от холода, кричали об успокоении.

И они обретали его.

В виде распада матери.

Ничего не помня.

Ничего не забывая.

За кривым забором из гнилой фанеры,
в четырех километрах от кольца трамвая.

ИСААК И АВРААМ

(Из поэмы)

«— Идем, Исак. Чего ты встал? Идем».

— «Сейчас иду». — Ответ среди веток мокрых
ныряет под ночным густым дождем,
как быстрый плот — туда, где гаснет окрик.

По-русски Исаак теряет звук.

Ни тень его, ни дух (стрела в излете)
не ропщут против буквы вместо двух
в пустых устах (в его последней плоти).

...И звук вернуть возможно, лишь крича:

— «Исак! Исак!» — и это справа, слева:

— «Исак! Исак!» — и в тот же миг свеча
колеблет ствол, и пламя рвется к небу.

Совсем иное дело — Авраам.

Холмы, кусты, врагов, друзей — составить
в одну толпу, — кладбища, ветки, храм —
и всех потом к нему воззвать заставить —
ответа им не будет. Будто слух
от мозга заслонился стенкой красной
с тех пор, как он утратил гласный звук
и странно изменился шум согласной.

От сих потерь он, вместо града стрел,
в ответ им шлет молчанье горла, мозга.
Здесь не свеча — здесь целый куст сгорел.
Пук хвороста. К чему здесь ведра воска?

— «Идем же, Исаак». — «Сейчас иду».
— «Идем быстрее». — Но медлит тот с ответом.
— «Чего ты там застрял?» — «Постой». —
— «Я жду».

(Свеча горит во мраке полным светом).
— «Идем. Не отставай». — «Сейчас, бегу».
С востока туч ползет немое войско.
— «Чего ты стал?» — «Глаза полны песку». —
— «Не отставай». — «Нет-нет». — «Иди, не бойся».

В пустыне Исаак и Авраам,
четвертый день пешком к пустому месту
идут они по всем пустым холмам,
что зыблются сродни (под ними) тесту.
Но то песок. Один густой песок.
И в нем трава (коснись — обрежешь палец),
чей корень — если б был — давно иссох.
Она бредет с песком, трава-скиталец.
Ее ростки имеют бледный цвет.
И то сказать — откуда брать ей соки?
В ней, как в песке, ни капли влаги нет.
На вкус она — сродни лесной осоке.
...Холмы песка. Барханы — имя им.
Пустынный свод небес кружит над ними.
Шагает Авраам. Вослед за ним
ступает Исаак в простор пустыни.
Садится солнце, в спину бьет отца.

Кружит песок. Прибавил ветер скорость.
Холмы, холмы. И нету им конца.
— «Сынок, дрова с тобою?» — «Вот он, хворост».
...«— А трут, отец, с тобою?» — «Вот он, трут».
Не видно против света, смутно этак..
Обоих их склоняя, спины трут
сквозь ткань одежд вязанки темных веток.

...Внезапно Авраам увидел куст.
Густые ветви стлались низко-низко.
Хоть горизонт, как прежде, был здесь пуст,
но это означало: цель их близко.
— «Здесь недалеко», — куст шепнул ему
почти в лицо, но Авраам, однако,
не подал вида и шагнул во тьму.
И точно — Исаак не видел знака.
...И только вот теперь он в двух шагах
заметил куст (к отцу почуяв зависть).
Он бросил хворост, стал и сжал в руках
бесцветную листву, в песок уставясь.
По сути дела, куст похож на всё.
На тень шатра, на грозный взрыв, на ризу,
на дельты рек, на луч, на колесо, —
но только ось его придется книзу.
С ладонью сходен, сходен с плотью всей —
при беглом взгляде ленты вен мелькают.
С народом сходен — весь его рассея,
но он со свистом вновь свой ряд смыкает.
...Кто? Куст. Что? Куст. В нем больше нет корней.
В нем сами буквы больше слова, шире.
«К» с веткой схоже, «У» — еще сильней.
Лишь «С» и «Т» в другом каком-то мире.

...Ночь. Рядом с Авраамом Исаак
ступает по барханам в длинном платье.
Взошла луна и каждый новый шаг
сверкает, как серебро в песчаном злате.
Блестит луна, синее густо даль.
Сплошная тень, исчез бесследно ветер.
— «Далёко ль нам, отец?» — «О нет, едва ль», —
не глядя, Авраам тотчас ответил.
С бархана на бархан и снова вниз,
по сторонам поспешным шаря взглядом,
они бредут. Кусты простерлись ниц,
но все молчат: они идут ведь рядом.
... — «Эй, Исаак. Ты вновь отстал. Я жду».
Он так напряг глаза, что воздух сетчат
почудился ему — и вот: «— Иду.
Мне показалось, куст здесь что-то шепчет».
— «Идем же». — Авраам прибавил шаг.
Луна горит. Всё небо в ярких звездах
молчит над ним. Простор звенит в ушах.
Но это только воздух, только воздух.
Песок и тьма. Кусты простерлись ниц.
Всё тяжелей влезать им с каждым разом.
Бредут склонясь. Совсем не видно лиц.
...И Авраам вязанку бросил наземь.

Они сидят. Меж них горит костер.
Глаза слезятся, дым клубится едкий,
а искры прочь летят в ночной простор.
Ломают Исаак сухие ветки.
Став на колени, их, склонясь вперед,
подбросить хочет: пламя стало утлым.
Но за руку его отец берет:
— «Оставь его, нам хворост нужен утром.

Нарви травы». Устало Исаак
встает и, шевеля с трудом ногами,
бредет в барханы, где бездонный мрак
со всех сторон, а сзади гаснет пламя.
...Вернулся Исаак, неся траву.
На пальцы Авраам накинул тряпку:
— «Поддай сюда. Сейчас ее порву».
И быстро стал крошить в огонь охапку.
Чуть-чуть светлей. Исчез из сердца страх.
Затем раздул внезапно пламя ветер.
— «Зачем дрова нам утром?» — Исаак
потом спросил, и Авраам ответил:
— «Затем, зачем вообще мы шли сюда
(ты отставал и всё спешил вдогонку,
но так как мы пришли, прошла беда) —
мы завтра здесь должны закласть ягненка.
Не видел ты алтарь там, как ходил
искать траву?» — «Да что там можно видеть?
Там мрак такой, что я от страха стыл.
Один песок». — «Ну, ладно, хочешь выпить?» —
И вот уж Авраам сжимает мех
своей рукой, и влага льется в горло;
глаза же Исаака смотрят вверх:
там все сильнее гудят, сверкая, сверла.
— «Достаточно», — и он отсел к огню,
отерши рот коротким жестом пьяниц.
Уж начало тепло склонять ко сну.
Он поднял взгляд во тьму: «— А где же агнец?»
Огонь придал неясный блеск глазам.
Услышал он ответ (почти что окрик):
— «В пустыне этой... Бог ягненка сам
найдет себе... Господь, он сам устроит...»

...Горит костер. Вернее, дым к звезде
сквозь толщу пепла рвется вверх натужно.
Уснули все и вся. Покой везде.
Не спит лишь Авраам. Но так и нужно.
Спит Исаак и видит сон такой:
безмолвный куст пред ним ветвями машет.
Он сам коснуться хочет их рукой,
но каждый лист пред ним смятенно пляшет.
Кто? Куст. Что? Куст. В нем больше нет корней.
В нем сами буквы — больше слова, шире.
«К» с веткой схоже, «У» — еще сильней.
Лишь «С» и «Т» — в другом каком-то мире.
...Что ж «С» и «Т» — а КУст пронзает хмарь.
...Что ж «С» и «Т» — все ветви рвутся в танец.
Но вот он понял «Т» — алтарь, алтарь,
а «С» на нем лежит, как в путах агнец.
Так вот что КУСТ: К, У, С и Т.
Порывы ветра резко ветви кренят
во все концы, но встреча им в кресте,
где буква «Т» все пять одна заменит.
Не только «С» придется там уснуть,
не только «У» делиться после снами.
Лишь верхней планке стоит вниз скользнуть,
не буква «Т» — а тотчас Крест пред нами.
И ветви — видит он — длинней, длинней.
И вот они его в себя прияли.
Земля блестит — и он плывет над ней.
Горит звезда...

На самом деле — дали
рассвет уже окрасил в желтый цвет,
и Авраам, ему связавши тело,

его понес туда, откуда след
протопан был сюда, где пламя тлело.
Весь хворост был туда давно снесен,
и Исаака он на это ложе
сложил сейчас — и всё проникло в сон,
но как же мало было с явью схоже.
Он возвратился, сунул шерсть в огонь.
Та вспыхнула, обдавши руку жаром,
и тотчас же вокруг поплыла вонь;
и Авраам свой нож с коротким жалом
достал (почти оттуда, где уснул
тот нож, которым хлеб он резал в доме...)
— «Ну что ж, пора», — сказал он и взглянул:
на чем сейчас лежат его ладони?
В одной — кинжал, в другой — родная плоть.
— «Сейчас соединю»... — и тут же замер,
едва пробормотав: — «Спаси, Господь!» —
Из-за бархана быстро вышел ангел.

— «Довольно, Авраам», — промолвил он,
и тело Авраама тотчас потным
внезапно стало, он разжал ладонь,
нож пал на землю, ангел быстро поднял.
«Довольно, Авраам. Всему конец.
Конец всему. И небу то отрадно,
что ты рискнул, хоть жертве ты отец.
Ну, с этим всё. Теперь пойдем обратно.
Пойдем туда, где все сейчас грустят.
Пускай они узрят, что в мире зла нет.
Пойдем туда, где реки все блестят,
как твой кинжал, но плоть ничью не ранят.
Пойдем туда, где ждут твои стада

травы иной, чем та, что здесь; где снится
твоим шатрам тот день, число когда
твоих детей с числом песка сравнится.
...Пойдем же, Авраам, в твою страну,
где плоть и дух с людьми, — с людьми родными,
где всё, что есть, живет в одном плену,
где всё, что есть, стократ изменит имя.
Их больше станет, но тем больший мрак
от их теней им руки, ноги свяжет.
Но в каждом слове будет некий знак,
который вновь на первый смысл укажет.
...Довольно, Авраам, испытан ты.
Я нож забрал — тебе уж он не нужен.
Холодный свет зари залил кусты.
Идем же. Исаак почти разбужен.
Довольно, Авраам. Испытан. Всё.
Конец всему. Всё ясно. Кончим. Точка.
Довольно, Авраам. Открой лицо.
Достаточно. Теперь всё ясно, точно».

По-русски Исаак теряет звук.
Зато приобретает массу качеств,
которые за «букву вместо двух»
оплачивают втрое, в буквах прячась.
По-русски «И» — всего простой союз,
который числа действий в речи множит
(похожий в математике на плюс),
однако он не знает, кто их сложит.
(Но суммы нам не вложено в уста:
для этого на свете нету звука).
Что значит «С», мы знаем из куста:
«С» — это жертва, связанная туго.

А буква «А» — среди этих букв старик,
союз, чтоб между слов был звук отдельный.
По существу же — это страшный крик,
младенческий, прискорбный, вой смертельный.
И если сдвоить, строить: ААА,
сложить бы воедино эти звуки,
которые должны делить слова,
то в сумме будет вопль ужасной муки:
объяло пламя все суставы «К»
и к одинокой «А» стремится прямо.
Но не вздымает нож ничья рука,
чтоб кончить муку, нет вблизи Абрама.
Полимени еще в устах торчит...
Другую половину пламя прячет.
И снова жертва на огне кричит:
«Вот то, что «Исаак» — по-русски значит».

ВАЛЕРИЯ БРЮСОВ

1873—1924

БИБЛИЯ

О Книга Книг! Кто не изведал
в своей изменчивой судьбе,
как ты целишь того, кто предал
свой утомленный дух тебе?

В чреде видений неизменных
как совершенна и чиста
твоих страниц проникновенных
немеркнущая красота.

Все бездны лет не заглушили
божественно-простой мотив.
Жив образ женственной Рахили,
Израиль-богоборец жив.

И кто, житейское отбросив,
не плакал, в детстве прочитав,
как братьев обнимал Иосиф
на высоте честей и слав?

Кто проникал, не пламенея,
веков таинственную даль,
познав сиянье Моисея,
с горы несущего скрижаль?

Резец и карандаш и кисти,
и струны и певучий стих —
еще светлей, еще лучистей
творят ряд образов твоих.

Какой поэт, какой художник
к тебе не приходил, любя?
Еврей, христианин, безбожник —
все, все учились у тебя.

И столько мыслей гениальных
с тобой невидимо слиты:
сквозь блеск твоих страниц кристальных
нам светят гениев мечты.

Ты вечно новой век за веком,
за годом год, за мигом миг
встаешь — алтарь пред человеком,
о Библия! О Книга Книг!

Ты — правда тайны сокровенной,
ты — откровенье, ты — Завет,
Всевышним данный всей вселенной
для прошлых и грядущих лет!

1918

ИВАН БУНИН

1870—1953

ДА ИСПОЛНЯТСЯ СРОКИ

Х. Н. Бялику

— Почто, о Боже, столько лет
ты мучишь нас в пустыне знойной?
Где правый путь? Где отчий след
к стране родимой и спокойной?

— Мужайтесь, верные! Вперед!
Я дал вам горький лист оливы,
но слаще будет он, чем мед
от тех, чьи руки нечестивы.

Прямые коротки пути.
Потребна скорбь, потребно время,
чтобы могло произрасти
на ниву брошенное семя.

1916

ИЕРУСАЛИМ

Это было весной. За восточной стеной
был горячий и радостный зной.
Зеленела трава. На припеке во рву
мак кропил огоньками траву.

И сказал проводник: «Господин! Я еврей
и, быть может, потомок царей.
Погляди на цветы по сионским стенам:
это всё, что осталось нам».

Я спросил: «На цветы?» И услышал в ответ:
«Господин! Это праотцев след,
кровь погибших в боях. Каждый год, как весна,
красным маком восходит она».

В полдень был я на кровле. Кругом подо мной,
тоже кровлей — единой, сплошной, —
желто-розовый, точно песок, возлежал
древний город и зноем дышал.

Одинокая пальма вставала над ним
на холме опахалом своим,
и мелькали, сверлили стрижки тишину,
и далёко я видел страну.

Морем серых холмов расстилалась она
в дымке сизого мглистого сна.

И я видел гористый Моав, а внизу —
ленту Мертвой воды, бирюзу.

«От Галгала до Газы, — сказал проводник, —
край отцов ныне беден и дик.

Иудея в гробах. Бог раскинул по ней
семя пепельно-серых камней.

«Враг разрушил Сион. Город тлел и сгорал —
и пророк Иеремия собрал
теплый прах, прах золы в погасавшем огне,
и развеял его по стране:

«да родит край отцов только камень и мак!
да исчахнет в нем всяческий злак!
да пребудет он гол, иссушен, нелюдим
до прихода реченного Им!»

1907

ОГНЕННЫЙ СТОЛП

В пустыне раскаленной мы блуждали,
томительно нам знойный день светил.
Во мгlistые сверкающие дали
туманный столп пред нами уходил.

Но пала ночь — и скрылся столп туманный,
мираж исчез, свободней дышит грудь —
и пламенем к земле обетованной
нам Ягве указывает путь!

«НА ПУТИ ПОД ХЕВРОНОМ»

На пути под Хевроном,
в каменистой широкой долине,
где по скатам и склонам
вековые маслины серели на глине,
поздней ночью я слышал
плач ребенка — шакала...
Из-под черной палатки я вышел,
и душа моя долго искала
хоть единой мне близкой души в полумраке.

Но уснули верблюды, собаки
и арабы в палатке. Светили
молчаливые звезды над старой
позабытой землею. В могиле
почивал Авраам с Исааком и Саррой.
И темно было в древней гробнице Рахили.

1907

ГРОБНИЦА РАХИЛИ

«И умерла, и схоронил Иаков
ее в пути»... И на гробнице нет
ни имени, ни надписей, ни знаков.

Ночной порой в ней светит слабый свет,
и купол гроба, выбеленный мелом,
таинственной бледностью одет.

Я приближаюсь в сумраке несмело
и с трепетом целую прах и пыль:
на этом камне женственном и белом...

сладчайшее из слов земных! Рахиль!

1907

ДОЛИНА ИОСАФАТА¹

Отрада смерти страждущим дана.
Вы побелели, странники, от пыли.
Среди врагов, в чужих краях вы были,
но вот вам отдых, мир и тишина.

Гора полдневным солнцем сожжена,
русло Кедрона ветры иссушили.
Но в прах отцов вы посохи сложили,
вас обрела родимая страна.

¹) Долина Иосафата — Кедронская долина, отделяющая Иерусалим от Масличной горы. По общему поверию — евреев, христиан и мусульман — здесь произойдет Страшный Суд над всеми народами мира.

В ней спят цари, пророки и левиты.
В блаженные обители ее
всех, что в плену и что мечом убиты,
собирает милосердный Судия.

По жестким склонам каменные плиты
лежат раскрытой книгой бытия.

20.8.1908

АСЯ ВЕКСЛЕР

«ПАДАЛИ, НЕ ДОИДЯ ДО КОНЦА»

Падали, не дойдя до конца,
лицами в снег и зелень...
Родителей моего отца
живыми зарыли в землю.

А то, что сын до Берлина дойдет,
пройдя сквозь войну с пехотой,
не могут знать они в давний год
на довоенном фото.

ЕВГЕНИЙ ВИНОКУРОВ

1925

АДАМ

Ленивым взглядом обозрев округи,
он в самый первый день траву примял
и лег в тени смоковницы, и руку
заведши за голову, задремал.

Он сладко спал. Он спал невозмутимо
под тишиной эдемской синевы.

... Во сне он видел печи Освенцима
и трупами налолненные рвы.

Своих детей он видел!..

В неге рая
была улыбка на лице светла.
Дремал он, ничего не понимая,
не знающий еще добра и зла.

АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ

1933

ЗОВ ОЗЕРА

... Певзнер 1903, Сергеев 1934, Лебедев 1916,
Бирман 1936, Бирман 1941, Дробот 1907...

Наши кеды как приморозило.

Тишина.

Гетто в озере. Гетто в озере.

Три гектара живого дна.

Гражданин в пиджачке гороховом
зывает на славный клёв.

Только кровь

на крючке его крошечном,
кровь!

«Не могу, — говорит Володька, —
а по рылу могу.

Это вроде как

не укладывается в мозгу.

«Я живой водою умоюсь,
может, чью-то жизнь расплешу,
может, Машеньку или Мойшу
я размазываю по лицу.

«Ты не тронь воды плоскодонкой,
уважаемый инвалид.

Ты пощупай ее ладонью —
болит!

«Может, так же не чьи-то давние,
а ладони моей жены,
плечи, волосы, ожидание
будут так же растворены.

«А базарами колоссальными
барабанит жабрами в жуть
то, что было теплом, глазами,
на колени любило сесть.

«Не могу, — говорит Володька, —
лишь зажмурюсь — в чугунных печах,
точно рыбы на сковородках
пляшут женщины и кричат»...

Коган 1933...

Их гнали к обрыву эсэсовскими прикладами.

Левин 1917...

Третью ночь, как Костров пьет.

И ночами зовет с обрыва.

И к нему является

рыба —

чудо-юдо озерных вод.

«Рыба, летучая рыба с гневным лицом мадонны,
с плавниками или крыльями...

Рива тебя звали,

золотая Рива,

Ривка,

либо как-нибудь еще...

Рыба,

рыба боли и печали,
прости меня, прокляни, но что-нибудь

ответь!►

Ничего не отвечает рыба.

Тихо. Озеро пограничное.

Три сосны.

Изумленнейшее хранилище
жизни, облака, вышины.

АЛЕКСАНДР ГАЛИЧ

1918

Памяти Михоэlsa

ПОЕЗД

Ни гневом, ни порицанием
давно уж мы не бряцаем,
здороваемся с подлецами,
раскланиваемся с полицаем!
Не рвёмся ни в бой, ни в поиск, —
всё праведно, всё душевно.
Но помни: отходит поезд!
Ты слышишь? Уходит поезд
сегодня и ежедневно.

А мы балагурим, а мы куролесим,
нам недругов лесть, как вода из колодца,
а где-то по рельсам, по рельсам, по рельсам
колеса, колеса, колеса, колеса.

Такой у нас нрав спокойный,
что без никаких стараний
нам кажется путь окольный
кратчайшим из расстояний.
Оплачен страховки полис,
готовит обед царевна,
но помни: отходит поезд
сегодня и ежедневно.

Мы пол оцинкуем, мы шторку повесим,
чтоб нашему раю ни краю, ни сноса.
А где-то по рельсам, по рельсам, по рельсам
колеса, колеса, колеса, колеса.

От скорости века в сонности
живем мы, в живых не значась.
Непротивление совести —
удобнейшее из чудачеств!
И только порой под сердцем
кольнет тоскливо и гневно:
уходит наш поезд в Освенцим!
Наш поезд уходит в Освенцим!
Сегодня и ежедневно...

А как наши судьбы как будто похожи:
и на гору вместе, и вместе с откоса.
Но вечно по рельсам, по сердцу, по коже
колеса, колеса, колеса, колеса.

ЕВГЕНИЯ ГИНЗБУРГ

1906

«И ВНОВЬ, КАК СЕДЫЕ ЕВРЕИ»

... И вновь, как седые евреи,
воскликнем, надеждой палимы,
и голос сорвется, слабея:
«На будущий — в Ерусалиме!»

Тюремные кружки содвинув,
осушим их, чокнувшись прежде.
Ты смыслишь ли что-либо в винах?
Нет слаще вина надежды!

Товарищ мой! Будь веселее!
Питаясь перловкой, не манной,
мы всё ж, как седые евреи,
в свой край верим обетованный.

Такая уж вот порода!
Замучены, нищи, гонимы,
всё ж скажем в ночь Нового Года:
«На будущий — в Ерусалиме!»

1937

ГРИГОРИИ ГЛАЗОВ

НА ОТТО-ГРОТЕВОЛЬШТРАССЕ

I

Здесь бункер был. Последний бункер тот,
в котором жил земной правитель ада.
А нынче — просто холм, трава растет.
И проникаешь только силой взгляда
под тяжкий свод, где отравил он пса
и сам издох.

И в час святой предтечи
всей синью ощутили небеса,
как остывали в Освенциме печи...
Здесь бункер был...

II

Кто я таков?

Сперва разверзлась тьма.
И я возник одной из малых толик
вселенной.

Не по прихоти ума,
а так, как возникает жизнь сама,
не зная: иудей я иль католик.
Да в том ли суть? Меня уже ждала
земля, к весне пресыщенная влагой,
и речка, что издревле здесь текла,
дремал в ней сом усатый под корягой.
Полей неутомительная даль
ждала меня. И лес дарил мне звуки.
И не остыв, вызванивала сталь.
И молоток отца просился в руки.
И женщина, что род продлить должна,
ждала меня, покорна и нежна.

Да, я возник.

Сперва размыт был мир,
не в фокусе, как чьи-то акварели.
Деревья перевернуто пестрели.
И не озвучен был его клавир.
Сперва мне дали имя: Человек.
И — родину с березой в изголовье.
Но свет, что мне возжег двадцатый век,
уж не таясь, размешивали кровью.
И впрок мне заготовили беду,
придумали за что-то искупленье;
чтоб я сгорел в печи, а не в аду,
столбом вселенским высились поленья.
И, сидя у грядущего огня,
палач на щепки тлеющие дунул,
изрек, что если б не было меня,
то всё равно бы

он меня придумал!

III

Но в пламени ином рождалась месть...

Берлин.

Зима.

И вот стою я здесь.

Поток машин.

Ждут перехода дети.

Я не придуман.

Я рожден.

Я есть!

Но труп его не тонет в мутной Лете...

Здесь бункер был...

Берлин, 1968

НИКОЛАЙ ГУМИЛЕВ

1886—1921

КРАСНОЕ МОРЕ

Здравствуй, Красное море, акулья уха,
негритянская ванна, песчаный котел!
На утёсах твоих, вместо влажного мха,
известняк, словно каменный кактус, расцвёл.

На твоих островах в раскаленном песке,
позабыты приливом, растущим в ночи,
издыхают чудовища моря в тоске:
осьминоги, тритоны и рыбы-мечи.

С африканского берега сотни пирог
отплывают и жемчуга ищут вокруг,
и стараются их отогнать на восток
с аравийского берега сотни фелук.

Если негр будет пойман, его уведут
на невольничий рынок Ходейды в цепях,
но араб несчастливый находит приют
в грязно-рыжих твоих и горячих волнах.

Как учитель среди шалунов, иногда
океанский проходит среди них пароход,
под винтом снеговая клокочет вода,
а на палубе — красные розы и лёд.

Ты бессильно над ним; пусть ревет ураган,
пусть волна как хрустальная встанет гора,
закурив папиросу, вздохнет капитан:
— «Слава Богу, свежо! Надоела жара!»

Целый день над водой, словно стая стрекоз,
золотые летучие рыбы видны;
у песчаных, серпами изогнутых кос,
мели, точно цветы, зелены и красны.

Блещет воздух, налитый прозрачным огнем,
солнце сказочной птицей глядит с высоты.
Море, Красное море, ты царственно днем,
но ночами вдвойне ослепительно ты!

... И когда выплывает луна на зенит,
ветр проносится, запахи леса тая,
от Суэца до Баб-эль-Мандеба звенит,
как Эолова арфа, поверхность твоя.

И ты помнишь, как, только одно из морей,
ты исполнило некогда Божий закон:
разорвало могучие сплавы зыбей,
чтоб прошел Моисей и погиб Фараон.

И в бараках, навеки проклятых,
этот хлеб — этот вязкий комок
нам в одеждах своих полосатых
дотянуть до свободы помог!
В казематах спокойно и чисто.
Светит солнце. Деревья растут.
Но страшна суетливость туриста
за колючею проволокой тут.
Освенцим. Если хочешь — Освенцим.
Деревянный и каменный стон
слушай раненым, яростным сердцем,
человек из счастливых времен!

ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО

1933

БАБИЙ ЯР

Над Бабьим Яром памятников нет.
Крутой обрыв, как грубое надгробье.
Мне страшно.

Мне сегодня столько лет,
как самому еврейскому народу.

Мне кажется сейчас —

я иудей.

Вот я бреду по древнему Египту.

А вот я на кресте, распятый, гибну,
и до сих пор на мне — следы гвоздей.

Мне кажется, что Дрейфус —

это я.

Мещанство —

мой доносчик и судья.

Я растерялся.

Я попал в кольцо,
затравленный,

оплеванный,

оболганный.

И дамочки с брюссельскими оборками,
визжа, зонтами тычут мне в лицо.

Встает Золя, вас обвиняя, судьи,
как голос честной Франции моей.

Но буржуа, предатели по сути,
кричат, что я предатель, я еврей.

Мне кажется —

я мальчик в Белостоке.

Кровь льется, растекаясь по полам.

Бесчинствуют вожди трактирной стойки

и пахнут луком с водкой пополам.

Я, сапогом отброшенный, бессилен.

Напрасно я погромщиков молю.

Под гогот:

«Бей жидов, спасай Россию!» —

лабазник избивает мать мою.

О, русский мой народ!

Я знаю —

ты

по сущности интернационален.

Но часто те, чьи руки нечисты,

твоим чистейшим именем бряцали.

Я знаю доброту моей земли.

Как мерзко,

что, и жилочкой не дрогнув,

антисемиты пышно нарекли

себя «Союзом русского народа!»

Мне кажется —

я — это Анна Франк,

прозрачная,

как веточка в апреле.

И я люблю.

И мне не надо фраз.

Мне надо,

чтоб друг в друга мы смотрели.

Как мало можно видеть,

обонять!

Нельзя нам листьев
и нельзя нам неба.
Но можно очень много —
это нежно
друг друга в темной комнате обнять.
Сюда идут?
Не бойся — это гулы
самой весны —
она сюда идет.
Иди ко мне.
Дай мне скорее губы.
Ломают дверь?
Нет — это ледоход...
Над Бабьим Яром шелест диких трав.
Деревья смотрят грозно,
по-судейски.
Всё молча здесь кричит,
и, шапку сняв,
я чувствую,
как медленно седею.
И сам я,
как сплошной беззвучный крик,
над тысячами тысяч погребенных.
Я —
каждый здесь расстрелянный старик,
я —
каждый здесь расстрелянный ребенок.
Ничто во мне
про это не забудет.
«Интернационал» пусть прогремит,
когда навеки похоронен будет
последний на земле антисемит.

Еврейской крови

нет в крови моей.

Но ненавистен злобой заскоружлой

я всем антисемитам,

как еврей.

И потому —

я настоящий русский!

1961

ДИСПЕТЧЕР СВЕТА

(Из поэмы «Братская ГЭС»)

Я диспетчер света, Изя Крамер.

Ток я шлю крестьянину, врачу,

двигаю контейнеры и краны

и кинокомедии кручу.

Где-то в переулочках неслышных,

обнимаясь, бродят, как всегда.

Изя Крамер светит вам не слишком?

Я могу убавить, если да.

У меня по личной части скверно.

До сих пор жены все нет и нет.

Сорок лет не старость, это верно,

только и не юность сорок лет.

... Вот стою за пультом над водою,

думаю про это и про то,

а меня на белом свете двое,

и не знает этого никто.

Я и здесь и в то же время где-то.
Здесь — дела, а там — тела, тела...
Проволока рижского гетто
надвое меня разорвала.

Оба Иззи в этой самой коже.
Жарко одному, другой дрожит.
Одному кричат: «Здорово, кореш!» —
а другому: «Эй, пархатый жид!».

И у одного, в тайге рождаясь,
просят света дети-города;
у другого к рукаву прижалась
желтая несчастная звезда.

Все ж другому на звезду, на кепку
сыплется черёмуховый цвет,
а семнадцать лет — они и в гетто,
что ни говори, — семнадцать лет.

Тело жадно дышит сквозь отрепья
и чего-то просит у весны...
А у Ривы, как молитва ребе,
волосы туманны и длинные.

Пьяные эсэсовцы глумливо
шляются по гетто до зари...
А глаза у Ривы — словно взрывы,
черные они, с огнем внутри.

Молится она окаменело,
но молиться губы не хотят
и к моим, таким же неумелым,
жаркие, по воздуху летят.

И, забыв о голоде и смерти,
полные особенным, своим,
мы на симфоническом концерте
в складе продовольственном сидим.

Пальцы на ходу дыханьем грея,
к нам выходит крошечный оркестр.
Исполнять Бетховена евреям
разрешило все-таки эсэс.

Хилые, на ящиках фанерных
поднимают скрипки старички,
и по нервам, по гудящим нервам
пляшут исступленные смычки.

И звучат бомбежки ураганно,
хоры мертвых женщин и детей,
и вступают гулко и органно
трубы где-то ждущих нас печей.

Ваша кровь, Майданек и Освенцим,
из-под пианинных клавиш бьет,
и, бушуя, — немец против немцев —
Людвиг ван Бетховен восстает.

Ну, а в дверь, дыша недавней пьянкой,
прет на нас эсэсовцев толпа...
Бедный гений, сделали приманкой
богом осенённого тебя.

И опять на пытки и на муки
тащит нас куда-то солдатня.
Людвиг ван Бетховен, чьи-то руки
отдирают Риву от меня!

Наш концлагерь птицы облетают,
стороною облака плывут.

Крысы в нем и то не обитают,
ну, а люди пробуют — живут.

Я не сплю, на вшивых нарах лёжа,
и одна молитва у меня:

«Как меня, не мучай Риву, боже, —
сделай так, чтоб Рива умерла!»

Но однажды, землю молчаливо
рядом с женским лагерем долбя,
я едва не вскрикнул... вижу Риву,
словно призрак, около себя.

А она стоит, почти незрима
от прозрачной детской худобы,
колыхаясь, будто струйка дыма
из кирпичной лагерной трубы.

И живая или неживая —
не пойму... Как в сон погружена,
мертвенно матрасы набивает
человечьим волосом она.

Рядом ходит немка, руки в бедра,
созерцая этот страшный труд.
Сапоги скрипят, сверкают больно.
Сапоги новехонькие. Жмут.

— «Эй, жидовка, слышишь, брось матрасы!
Подойди! А ну-ка помоги!»
Я рыдаю... С ног ее икрастых
стягивает Рива сапоги.

— «Поживее! Плётки захотела?
Не порви чулок! — И в грудь пинком. —
А теперь их разноси мне, стерва!
Надевай! Надела? Марш бегом!»

И бежит, бежит по кругу Рива,
спотыкаясь посреди камней,
и солдат лоснящиеся рыла
с вышек ухмыляются над ней.

Боже, я просил ей смерти, помнишь?
Почему она еще живет?
Я кричу, бросаясь ей на помощь,
мне товарищ зажимает рот.

И она бежит, бежит по кругу,
падает, встает, лицо в крови...
Боже, протяни свою ей руку,
навсегда ее останови!

Боже, я опять прошу об этом!
Милосердный боже, так нельзя!
Солнце, словно лагерный прожектор,
Риве бьет в безумные глаза.

Падает... К сухой земле прижалась
девичья седая голова.
Наконец-то вспомнил бог про жалость.
Бог услышал, Рива: ты мертва...

Я диспетчер света, Изя Крамер.
Я огнями ГЭС на вас гляжу,
грохочу электротракторами
и электровозами гужу.

Где-то на бетховенском концерте
вы сидите, может быть, с женой,
ну, а я — вас это не рассердит? —
около сажусь, на приставной.

Впрочем, это там не я, а кто-то...
Людвиг ван Бетховен, я сейчас
на пюпитрах освещаю ноты
из тайги, стирая слезы с глаз.

И, платя за свет в квартире вашей,
счет кладя с небрежностью в буфет,
помните, какой ценою страшной
Изя Крамер заплатил за свет.

Знает Изя: много надо света,
чтоб не видеть больше мне и вам
ни колючей проволоки гетто
и ни звезд, примерзших к рукавам,

чтобы над евреями бесчестно
не глумился сытый чей-то смех,
чтобы слово «жид» навек исчезло,
не позоря слова «человек»!

Этот Изя кое-что да значит —
Ангара у ног его лежит, —
ну, а где-то Изя плачет, плачет,
ну, а Рива все бежит, бежит...

ГОРОД МИРА

Над костром моим синее
ширь ночного небосклона.
Тихо дремлют в отдаленьи
стены скорбного Сиона.
Провожатый мой, потомок
древних шейхов Эбн-Али,
шлет привет пытливым взором
звездам неба от земли.

«Скоро полночь», — говорит он
и смолкает, засыпая.

Спит печальная долина,
неподвижная, немая.

Этот сон меня пугает:
в этой чуткой тишине
словно стоны чьи-то реют
и доносятся ко мне...

Тише — арфа зазвенела.
Там вдали, где тьма густая,
струны стонут, надрываясь,
разбиваясь и рыдая;
тихий голос где-то плачет
или, может быть, поет, —
над Сионом легкий призрак
белой женщины плывет.

— «Шейх, мне страшно!»

Он проснулся,
поднял взоры и мгновенно,
скрыв лицо свое руками,
преклонил одно колено.
Я невольно опустил
рядом с шейхом Эбн-Али,
и рыдания постепенно
где-то замерли вдали.

И, шепча свои молитвы,
встал араб неторопливо.
— «Да прославится Всевышний,
нам явивший это диво.
«Этот призрак — Город Мира.
Я слышал, что каждый год
песню скорби над Сионом
эта женщина поет.

«Я слышал среди арабов:
Тот, пред Кем благоговеем,
обещал во дни былые
эту землю иудеям.
Нет владыки кроме Бога —
Ла Иллахгу иль Алла! —
Злоба сильных только глина,
слово Господа — скала.

«Но столетья проходили,
и в печали непрестанной
скорбно жили иудеи
вне страны обетованной, —

**жили, родины и чести
волей рока лишены,
только веру сохранивши
от великой старины.**

**«Этот призрак — Город Мира,
это мать того народа.
Каждый год она рыдает
над Сионом с небесвода
и зовет из стран изгнания
в тихий рай своих полей
Божьей карой многолетней
истомленных сыновей»...**
1898

ПАМЯТИ ГЕРЦЛЯ

**Он не угас, как древле Моисей,
на берегу земли обетованной;
он не довел до родины желанной
се вдали тоскующих детей;
он сжег себя и отдал жизнь святыне
и «не забыл тебя, Иерусалим,» —
но не дошел и пал еще в пустыне,
и в лучший день родимой Палестине
мы только прах трибуна предадим.**

**И понял я загадку странных слов,
поведанных в Агаде Бен-Барханой, —
что погребен пустынею песчаной
не только род трусливых беглецов,
ничтожный род, рабы, в чей дух и спины**

вожгла клеймо египетская плеть, —
но, кроме них, среди немой равнины
в сухом песке зарыты исполины,
их сердце — сталь, и тело их — как медь.

Да, понял я сказанье мудреца:
весь мир костями нашими усеяв,
не сорок лет, а сорок юбилеев
блуждаем мы в пустыне без конца;
и не раба, вскормленного бичами,
зарыли мы в сухой чужой земле:
то был титан с гранитными плечами,
то был орел с орлиными очами,
с орлиною печалью на челе.

И был он горд и мощен и высок,
и зов его гремел, как звон металла,
и прогремел: во что бы то ни стало! —
И нас повел вперед и на восток,
и дивно пел о жизни полной света
в ином краю, свободном и своем,
и днем конца был день его расцвета,
и грянул гром, и песня не допета —
но за него мы песню допоем!

Пусть мы сгнием под муками ярма,
и вихрь умчит клочки священной Торы;
пусть сыновья уйдут в ночные воры
и дочери в позорные дома,
и в мерзости наставниками людям
да станем мы в тот черный день и час,
когда тебя и песнь твою забудем
и посрамим погибшего за нас.

Твой голос был, как манна с облаков,
и без него томит нас скорбь и голод;
из рук твоих упал могучий молот,
но грянем мы в сто тысяч молотков,
и стихнет скорбь от их живого гула,
и голод наш умрет среди разгула
и пиршества работы напролом.
Мы прогрызем утесы на дороге,
мы проползем, где нам изменят ноги,
но, *chaj ha Schem!*¹ — мы песню допоем.

Так в оны дни отец наш Израил
свой стан привел к родимому порогу,
и преградил сам Бог ему дорогу
и бился с ним, но Иаков победил.
Грозою нас, как листья, разметало,
но мы твои потомки, богобор, —
мы победим во что бы то ни стало.
Пусть Божий меч на страже перевала,
но мы пройдем ему наперекор.

Спи, наш орел, наш царственный трибун.
Настанет день — услышишь гул похода,
и скрип телег, и гром шагов народа,
и шум знамен, и звон веселых струн.
И в этот день от Дана до Бер-Шевы
благословит спасителя народ,
и запоют свободные напевы,
и поведут в Сионе наши девы
перед твоей гробницей хоровод.

1904

¹) Клянусь Богом! (иврит).

Л. ЖДАНОВА

РАССТРЕЛЯННЫЕ ЗВЕЗДЫ

Здесь было горе — горе без счета.
Желтые звезды — звезды почета.
Звезды униженных, звезды отверженных,
вшитые в небо еврейской одежды.

Здесь в синагоге молилось гетто.
Только Мессия, наверное, где-то
мимо промчался и канул в Лету.
Бог позабыл о еврейских бедах.

Желтые звезды, звезды Давида,
горькие слезы еврейской обиды.
Вместо клейма паспорт с надписью «Юде»,
в спину проклятием окрик: «Иуда».

В осень глухую, в ночь листопада,
надали, падали, падали, падали,
падали звезды... В звезды стреляли,
звезды кроваво-красными стали.

Желтой звезды кровоточащий след!
Звезды, которых на небе нет!
Звезды в могилы зарытые заживо...
Вместо звезды расстрелянной каждой
Новые звезды руками нашими
в небо вошьем мы в память о павших!

ДОВИД КНУТ

1900—1955

КИШИНЕВСКИЕ ПОХОРОНЫ

Я помню тусклый кишиневский вечер:
мы огибали Инзовскую горку,
где жил когда-то Пушкин. Жалкий холм,
где жил курчавый низенький чиновник —
прославленный кутила и повеса —
с горячими арабскими глазами
на некрасивом и живом лице.

За пыльной, хмурой, мертвой Азиатской
несли на палках мертвого еврея.
Под траурным несвежим покрывалом
костлявые виднелись очертанья
обглоданного жизнью человека,
обглоданного, видимо, настолько,
что после нечем было поживиться
худым червям еврейского кладбища.

За стариками, несшими носилки,
шли кучкою глазастые евреи.
... Большая скорбь им веселила сердце,
и шли они неслышною походкой,
покорной, легкой, мерной и не спешной,
как будто шли они за трупом годы,
как будто нет их шествию начала,
как будто нет ему конца... Походкой
сионских — кишиневских — мудрецов.

Пред ними — за печальным черным грузом
шла женщина, и в пыльном полумраке
не видно было нам ее лицо.

Но как прекрасен был высокий голос!
Под стук шагов, под слабое шуршанье
опавших листьев, мусора, под кашель
лилась еще неслыханная песнь.

В ней были слезы сладкого смирения,
и преданность предвечной воле Божьей,
в ней был восторг покорности и страха...
О, как прекрасен был высокий голос!

Не о худом еврее, на носилках
подпрыгивавшем, пел он — обо мне,
о нас, о всех, о суете, о прахе,
о старости, о горести, о страхе,
о жалости, тщете, недоуменье,
о глазках умирающих детей...

Еврейка шла почти не спотыкаясь,
и каждый раз, когда жестокий камень
подбрасывал на палках труп, она
бросалась с криком на него — и голос
вдруг ширился, крепчал, звучал металлом,
торжественно гудел угрозой Богу
и веселел от яростных проклятий.
И женщица грозила кулаками
Тому, кто плыл в зеленоватом небе,
над пыльными деревьями, над трупом,
над жесткою, корявою землей.

Но вот пугалась женщина себя
и била в грудь себя, и леденела,
и каялась надрывно и протяжно,
испуганно хвалила Божью волю,
кричала иступленно о прощенье,
о вере, о смирении, о вере,
шарахалась и ежилась к земле
под тяжестью невыносимых глаз,
глядевших с неба скорбно и сурово.

Что было? Вечер, тишь, забор, звезда,
простой обряд еврейских похорон
и женщина из Книги Бытия.

... Но никогда не передам словами
того, что реяло над Азиатской,
над фонарями городских окраин.
... Особенный, еврейско-русский воздух...
Блажен, кто им когда-либо дышал.

РОШ-ПИНА¹

Звезды светят
из синего небытия
на дома, синагогу и площадь.
Возвращается ветер
на круги своя
и шуршит в эвкалиптовой роще.

Возвращается ветер
на круги своя,
подбирает листок эвкалипта.
Здесь, по этим
неисповедимым краям,
шли, стеною, рабы из Египта.

Возвращается ветер в стотысячный раз,
бередит ханаанские склоны.
Как свидетели правды, о, Экклезиаст,
непреклонные скалы Хермона.

Возвращается с моря, с высоких вершин
влажной вечностью веющий ветер.
Кипарисы качаются чинно в тиши,
как свидетели горя и смерти.

Возвращается жизнь: вот Ревекка с водой
на плече...

Это было и будет.

Возвращается смерть. Но под той же звездой
не рабы умирают,
а люди.

¹) Деревня в верхней Галилее.

«МИР ЕВРЕЙСКИХ МЕСТЕЧЕК»

Мир еврейских местечек — ничего не осталось от них.
Будто Веспасиан здесь прошелся в пожаре и в гуле.
Сальных шуток своих не отпустит беспутный резник,
и, хлеща по коням, не споет на шоссе балагула.
Я к такому привык. Удивить невозможно меня.
Но мой старый отец... Все равно ему выпросить надо,
как водили людей на погибель средь белого дня
и как плакали дети в испуге средь этого ада.
Мой ослепший отец — этот мир ему знаем и мил.
И дрожащей рукой, потому что глаза слеповаты,
ощутит он дома, синагоги и камни могил —
мир знакомых картин, из которого вышел когда-то.
Мир знакомых картин. Уж никто не вернет ему их.
И пусть немцам дадут по десятке за каждую пулю, —
сальных шуток своих все равно не отпустит резник,
и, хлеща по коням, уж не спеть на шоссе балагуле.

ДЕТИ В ОСВЕНЦИМЕ

Мужчины мучили детей.
Умно. Намеренно. Умело.
Творили будничное дело,
трудились — мучили детей.
И это каждый день опять:
кляня, ругаясь без причины...

А детям было не понять,
чего хотят от них мужчины.
За что — обидные слова,
побой, голод, псов рычанье?
И дети думали сперва,
что это за непослушанье.
Они представить не могли
того, что было всем открыто:
по древней логике земли
от взрослых дети ждут защиты.
А дни все шли, как смерть страшны,
и дети стали образцовы.
Но их все били.

Так же.

Снова.

И не снимали с них вины.
Они хватались за людей.
Они молили. И любили.
Но у мужчин «идеи» были,
мужчины мучили детей.
Я жив. Дышу. Люблю людей.
Но жизнь бывает мне постыла,
как только вспомню: это — было!
Мужчины мучили детей!

1961

СЕМЕН ЛИПКИН

1911

СЧАСТЛИВЕЦ

Я мог бы валяться в ложбине степной,
завейанный прахом, засыпанный солью,
мертвец, озаренный последнею болью,
последней улыбкой, последней мечтой.
Но вот — я живу. Я снова с тобой,
я один из немногих счастливцев.

Я мог бы сгореть за кирпичной стеной
в какой-нибудь миром забытой Треблинке
и сделаться туком в бесплодном суглинке,
иль смазочным маслом, иль просто золой.
Но вот — я живу. Я снова с тобой,
я один из немногих счастливцев.

Я мог бы вернуться в свой город родной,
где пахнут акации туго ипряно,
где все незнакомо, и горько, и странно.
Я мог бы... Но я не вернулся домой.
Я только живу. Я снова с тобой,
я один из немногих счастливцев.
1945

РОСА

Не тревожьтесь: вы только березы.
Что же льете вы терпкие слезы?

Ты, сосна, так и будешь сосною.
Что ж ты плачешь слезой смоляною?
Травы милые, лес подмосковный,
неужели вы тоже виновны?

Только дачники, сладко балдея,
к счастью слабой душой тяготая,
не хотят огорчиться слезою
и зовут эти слезы — росою.

И проходят, веселые, мимо,
забывая, что эти росинки —
горлом хлынувший плач Освенцима,
бесприютные слезы Треблинки.
1945

НА ТЯНЬ-ШАНЕ

Бьется бабочка в горле кумгана,
спит на жердочке беркут седой,
и глядит на них Зигмунд Сметана,
элегантный варшавский портной.

Издалека занес его случай,
а другие исчезли в золе,
там, за проволокою колючей,
и теперь он один на земле.

В мастерскую, кружась над саманом,
залетает листок невзначай.
Над горами — туман. За туманом —
вы подумайте только! — Китай.

В этот час появляются люди:
конеvod на кобылке Сафо,
и семейство верхом на верблюде,
и в вельветовой куртке райфо.

День в пыли исчезает, как всадник.
Овцы тихо вбегают в закут.
Зябко прячет листы виноградник,
и опресноки в юрте пекут.

Точно так их пекли в Галилее,
под навесом, вечерней порой...
И стоит с сантиметром на шее
элегантный варшавский портной.

Не соринка в глазу, не слезинка, —
это жжет его мертвым огнем,
это ставшая прахом Треблинка
жгучий пепел оставила в нем.

Токмак, 1948

БОГОРОДИЦА

1

Гремели уже на бульжнике
немецкие танки вдали.
Уже фарисеи и книжники
почетные грамоты жгли.
В то утро скончался Иосиф,
счастливец, ушел в тишину,
на муки жестокие бросив
рожавшую в муках жену.

2

Еще их, зверея, не предали,
 зверея, балдея с утра,
 еще даже имени не дали
 ребенку того столяра,
 душа еще реяла где-то
 умершего сына земли,
 когда за слободкою в гетто
 вдову и дитя увели.

3

Глазами недвижными нелюди
 смотрели на тысячи лиц.
 Недвижны глаза и у челяди —
 единое племя убийц.
 Свежа еще мужа могила,
 и гибель стоит за углом,
 а мать мальчугана кормила
 сладчайшим своим молоком.

4

Земное осело, отсеялось,
 но были земные дела.
 Уже ни на что не надеялась,
 а всё же чего-то ждала.
 Ждала, чтобы вырос он, милый,
 пошел бы, сначала ползком,
 и мать мальчугана кормила
 сладчайшим своим молоком.

5

И яму их вырыть заставили,
 и лечь в этом глиняном рву,
 и нелюди дула направили
 в дитя, в молодую вдову.

Мертвящая черная сила
уже ликовала кругом,
а мать мальчугана кормила
сладчайшим своим молоком.

6

Не стала иконой прославленной,
свалилась на глиняный прах,
и мальчик упал окровавленный
с ее молоком на губах.

Еще не нуждаясь в спасенье
солдаты в казарму пошли,
но так началось воскресенье
людей, и любви, и земли.

1956

ВИЛЬНЮССКОЕ ПОДВОРЬЕ

Ни вывесок не надо, ни фамилий.
Я все без всяких надписей пойму.
Мне камни говорят: «Они здесь жили,
и плач о них не нужен никому».
А жили, оказалось, по соседству
с епископским готическим двором
и даже с ключарем — святым Петром,
и были близки нищему шляхетству,
и пан Иус в потертом кунтуше
порою плакал и об их душе.

Теперь их нет. В средневековом гетто
курчавых нет и длинноносых нет.
И лишь в подворье университета,
под аркой, где распластан тусклый свет,

где склад конторской мебели, — неожиданно
я вижу соплеменников моих,
недвижных, но оставшихся в живых,
изваянных Марию, Иоанна,
Иосифа... И слышит древний двор
наш будничный житейский разговор.
1963

УЛИЦА У КАНАЛА

«Импорт--экспорт». «Врач». «Ван Гутен». «Ткани».
«Амстердамско-Роттердамский банк»...
И среди фамилий и названий —
буквы на дверях: «Дом Анны Франк».
Крепок дом, и комнаты неплохи.
Снимки отблеставших кинозвезд.
Апокалипсис моей эпохи,
как таблица умноженья, прост.
Звезды на стене, а ночь беззвездна
и не смеет заглянуть сюда.
Доченька, уснуть еще не поздно,
чтобы не проснуться никогда.
Увядает в роще Елисейской
дерево познания и добра,
а на почве низменной, житейской,
начинается его пора.
Нелегко свести с концом начало.
Жизнь есть жизнь, и деньги любят счет.
Вдоль дверей течет вода канала.
Знает ли куда она течет?
1966

СОЮЗ

Как дыханье тепла в январе
иль отчаянье воли у вьючных,
так загадочней нет в словаре
однобуквенных слов, однозвучных.

Есть одно, — и ему лишь дано
обуздать полновластно различья.
С ночью день сочетается оно,
мир с войной и с паденьем величье.

В нем тревоги твои и мои,
в этом И — наш союз и подспорье...
Я узнал: в азиатском заморье
есть народ по названию И.

Ты подумай: и смерть, и зачатье,
будни детства, надела, двора,
неприятие лжи, и понятие
состраданья, бесстрашья, добра,
и простор, и восторг, и унылость
человеческой нашей семьи, —
все сплотилось и мощно сроднилось
в этом маленьком племени И.

И когда в отчужденной кумирне
приближается мать к алтарю, —
это я, тем сильней и всемирней,
вместе с ней о себе говорю.

Без союзов словарь онемееет,
и я знаю: сойдет с колен,
человечество быть не сумеет
без народа по имени И.

1968

МАРК ЛИСЯНСКИЙ

1914

АЛЫЕ МАКИ

Цветут в Бухенвальде цветы —
алые маки.

В музейном покое — щиты,
а рядом — бараки.

Цветут в Бухенвальде цветы —
алые вспышки.

На маки глядят с высоты
бесменные вышки.

На вышках эсэсовцев нет.

Дым не клубится...

Цветы пламенеют — и свет
ложится на лица.

Не ходит по лагерю смерть,
не лают собаки.

А все-таки жутко смотреть
на алые маки.

ВЛАДИМИР ЛИФШИЦ

1913

ДАТСКАЯ ЛЕГЕНДА

Немцы заняли город

без боя, легко, на бегу,

и лишь горстка гвардейцев,

свой пост у дворца не покинув,

в черных шапках медвежьих

открыла огонь по врагу

из нелепых своих, из старинных своих карабинов.

Копенгаген притих.

Вздорожали продукты и газ.

В обезлюдевший порт

субмарины заходят во мраке.

Отпечатан по форме

и за ночь расклеен приказ:

всем евреям надеть

нарукавные желтые знаки.

Это было для них,

говорили,

началом конца.

И в назначенный день, в тот, что ныне становится
сказкой,

на прогулку по городу

вышел король из дворца

и неспешно пошел

с нарукавной желтой повязкой.

Копенгагенцы приняли

этот безмолвный сигнал.

А начальник гестапо
 гонял неприметный «фольксваген»
по Торговой,
 к вокзалу,
 в ратушу
 и в порт,
 на канал, —
с нарукавной повязкой
 ходил уже весь Копенгаген!..
Может, было такое, а может быть, вовсе и нет,
но легенду об этом я вам рассказал не напрасно,
ибо светится в ней золотой андерсеновский свет
и в двадцатом столетье она, как надежда, прекрасна.

ДВУМ СТРАНАМ

... Благодарю тебя, страна,
за то, что я еще свободен;
за то, что вижу из окна
цветенье вишен и смородин;
и что шаги мои легки,
и что глаза мои красивы, —
за всё — рассудку вопреки —
благодарю тебя, Россия.
Я нож не прячу под полой,
но — не пойми меня превратно —
я в отчий край вернусь, домой.
Прощай, —

я ухожу обратно.

А ты, Израиль, о, прими
всё, чем под солнцем я богат,
всё, чем богат я под плетьюми!
Вот жизнь, вот смерть — бери подряд,
не разбирая, — всё твое.

Израиль, я — твое ребро,
от крови кровь, от плоти плоть,
твоих я виноградин гроздь.
Моя река к твоей реке
пробьется, как рука к руке.

... К твоим полям, о мой народ,
быть может, сам я не дойду,
умру — но крик мой не умрет,
ему расцвести в твоём саду.

Народ мой, слушай:

до конца

не досказать, быть может, мне,
но наши — вслушайся! — сердца
вещают на одной волне.

Я этим счастлив,

и еще

тем, что не глух к печали ив,
и тем, что гнёт не гнёт плечо;
я счастлив тем, что в мире жив.

Мой крик к тебе, о мой народ.
Границ он сдвинет чуткий мрак,
дойдет, пробьется.

Час пробьет —

он прорастет.

Да будет так!

«НЕТ, Я НЕ СТАНУ ВЕШАТЬСЯ»

Нет, я не стану вешаться с тоски.

Я буду есть ваш хлеб, пить вашу воду,
дробить о ваши скулы кулаки —
но выживу для моего народа.

Я остужу себя, я подожду.

Нащупаю в потоках мутных броды.

Я всякую перетерплю беду —
но выживу для моего народа.

Теперь евреи сами жизнь куют
и не страшатся грома непогоды.

— «Тебя убьют в дороге!»

Пусть убьют —

но я умру для моего народа.

ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ

1891—1938

«ЖИЛ АЛЕКСАНДР ГЕРЦОВИЧ»

Жил Александр Герцович,
еврейский музыкант.

Он Шуберта наворачивал,
как чистый бриллиант.

И всласть, с утра до вечера,
заученную вхруст
одну сонату вечную
твердил он наизусть.

Что, Александр Герцович,
на улице темно?
Брось, Александр Скерцович,
чего там, все равно...

Пускай там италяночка,
покуда снег хрустит,
на узеньких на саночках
за Шубертом летит.

Нам с музыкой — голубою
не страшно умереть,
а там — вороньей шубою
на вешалке висеть.

Всё, Александр Скерцович,
заверчено давно...
Брось, Александр Сердцевич,
чего там, всё равно...

27 марта 1931

ПАЛЕСТИНА

1

Когда в глазах темно от горя,
я вспоминаю край отцов,
простор бушующего моря
и лодки полные гребцов.
Несутся к городу — к обрыву,
легко ныряя, челноки.
Там гул нестройный и ленивый,
торговцев крики и звонки.
В кофейне низкой и убогой
идет игра, дымит кальян...
А рядом пыльною дорогой
проходит тихий караван.
И величавый, смуглолицый,
степных просторов вольный сын,
идет за стройной вереницей
своих верблюдов бедуин.
То у ворот Иерусалима
дает верблюдам он покой,
расположась невозмутимо
среди тревоги городской.
То в мирной и счастливой сени
случайной рощицы олив
верблюды спят, склонив колени,
пока не будит их призыв.
Давно в печальное изгнанье

ушли Иакова сыны, —
но древних дней очарованье
хранят кочевники страны.
Они — как прошлого виденья
среди пришлых чуждых горожан.
И ты не можешь без волненья
смотреть на стройный караван.

2

Как странно, что поток бурливый —
века, события, племена —
не смысл здесь прошлого. И живы
в стране родимой имена
священных мест. Я был в деревне
феллахов бедных — Анатот.
Там рос и жил великий, древний
пророк, оплакавший народ.
И глядя на немые камни
жилищ, раскинутых окрест,
я долго думал, как близка мне
печаль суровых этих мест.
Не плиты предков гробовые
меня пленяли стариной:
восстав из праха, Иеремия
стоял в деревне предо мной.
И «Плач», что в день девятый аба¹

1) Девятое аба — день поста и траура в память двукратного падения Иерусалима и разрушения обоих Храмов — первого вавилонянами, второго римлянами. «Плач» — библейская книга, оплакивающая гибель Иудейского царства и первого Храма. Древняя традиция приписывает эту книгу пророку Иеремии.

отец мой медленно читал,
у скромной хижины араба
из уст пророка прозвучал.

3

Иду за первым караваном.
Поют бегущие звонки,
и золотистым океаном
чуть слышно зыблются пески.
Полдневный путь в истоме зноя
я вспоминаю, как во сне.
Но помню сладкий час покоя
и шелест листьев в тишине.
Бежит из камня ключ прохладный,
журчит невинно, как в раю.
И пьет, склонившись, путник жадно
его прозрачную струю.
И открывается неожиданно
за пыльной зеленью оград
лимонов сад благоуханный,
растущий пышно виноград.
Волшебный край! Тоску, лишенья —
я всё готов перенести
за светлый час успокоенья,
за отдых сладостный в пути.
Придешь ли ты путем мучений,
народ-кочевник чуждых стран,
к истоку вод, к блаженной сени,
как этот стройный караван?

Но те, что в край обетованный
вернулись в наши времена,
нашли не отдых долгожданный, —
борьба была им суждена.
Сосед воинственно-лукавый
тревожил мирный их приют,
и прерывал раздор кровавый
их терпеливый, честный труд.
И незаметно лихорадка
губила молодую мощь,
пока в пустынях шла посадка
целебных, благодатных рощ.
С тех пор возник среди пустыни
один оазис за другим,
а дух борцов еще поныне,
как в первый день, несокрушим.
Там сторож — пеший или всадник —
спешит отважно в час ночной
стеречь родимый виноградник,
объягый жуткой тишиной.
Как листья в месяц листопада,
роняют звезды небеса.
На темной кисти винограда
блестит холодная роса.
А за оградой, где без края
лежат остывшие пески,
ночных шакалов плачет стая
в порыве страха и тоски.

Мы жили лагерем — в палатке,
кольцом холмов окружены.
Кусты сухие в беспорядке
курились, зноем сожжены.
В прибытья час мой спутник старый
мне указал на ближний склон
с деревней бедной: «Это Цар'а.
Здесь жил в младенчестве Самсон».
Теперь здесь нужен труд Самсонов:
с утра до поздней темноты
здесь гонят змей и скорпионов,
сдвигают камни, жгут кусты,
колодезь роют терпеливо,
чтоб оживить заглохший дол,
и в тишине ревет тоскливо,
весь день работая, осел.
Но веет вечера прохлада,
горят венки закатных роз.
Легко бежит по склонам стадо
прохладой оживленных коз.
Луна встает в нежданном блеске,
созвездья четкие зажглись.
Шатра отдернув занавески,
мы, отдыхая, смотрим ввысь.
Как тихий ключ, струится пенье:
в порыве трепетном застыв,
араб, наш сторож, в отдаленье
поет молитвенный мотив.
Стоит он белый, озаренный,
и в царстве сонной тишины

напев молитвы монотонной
растет, как ясный блеск луны.
Душа светла и благодарна,
а ночь таинственна, нема,
и мнится: ангел светозарный
летит с небес на край холма.
Там он стоял во время оно,
когда он землю посетил
и скромной матери Самсона
рождение сына возвестил.

ИЕРУСАЛИМ

По горной царственной дороге
вхожу в родной Иерусалим
и на святом его пороге
стою смущен и недвижим.

Меня встречает гул знакомый:
на площадях обычный торг
ведет толпа. Она здесь дома,
и чужд ей путника восторг.

Шумят открытые харчевни,
звучат напевы дальних стран,
идет, качаясь, в город древний
за караваном караван.

Но пусть виденья жизни брэнной
закрыли прошлое, как дым, —
тысячелетья неизменны
твои холмы, Иерусалим!

И будут склоны и долины
хранить здесь память старины,
когда последние рунны
падут, веками сметены.

Во все века, в любой одежде
родной, святой Иерусалим
пребудет тот же, что и прежде, —
как твердь небесная над ним.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО

(Из Х.Н. Бялика / с идиш)

Меня опять Он к вам послал,
когда ревел могучий вал
и по ветру носились вы,
как груда высохшей листвы,
и руки падали у вас,
и силы таяли в груди.
И в ваш последний грозный час
явился Он и рек: «Иди!»

«Им тяжело, — сказал мне Он, —
им слишком больно. О, скорей
иди! У них ты вырви стон,
исторгни слезы из очей.
Пусть будет стон, как лязг металла,
слеза — как молот тяжела,
чтобы земля затрепетала
и зло и горе отрясла».

И я пошел. Пускай каменья,
преграды были предо мной, —

меня могучее стремленье
толкало с силой неземной.
Я знал, что гаснет ваше пламя,
я знал, что бы в змеинной яме,
что ветер потушил огни,
что вы во тьме, одни, одни...

И ваша боль меня толкала,
и вам помочь душа алкала.
Он дал на горе душу мне:
она полна чужой тоскою,
горит, не ведая покоя,
горит на медленном огне.

Я знал, — вам горько, тяжело,
и думал: «Ищите меня.
Познали мрак, и гнет, и зло, —
зовете свет и ждете дня.
Иду! Лечу! Сейчас предстану.
Ведь дорог день и дорог час.
Лизать я буду вашу рану,
дыханьем уст согрею вас.
И с вами буду я страдать,
молить, чтоб раны не горели.
Так лишь у детской колыбели
томится страждущая мать.
Иду, лечу! Я вас укрою,
я дам вам новую зарю.
Бог одарил меня душою,
вам эту душу подарю.
И мне язык Иегова дал.
Он — острый блестящий кинжал.
Коль вы из камня — он железный,

коль вы железо, он — булат.
Народ, и встанешь ты из бездны,
могуч и пламенем объят!»

Теперь пред дверью стал пророк.
Напрасен зов, — ответа нет.
Тяжелый мрак главу облек,
погас мой луч, мой яркий свет.
Я встретил здесь позор и стыд,
передо мной закрыли дверь,
и слово Божие звучит
насмешкой горькою теперь.

Я не скажу вам ничего:
вам слово чуждо и мертво.
Кричал я средь камней и скал —
и первый крик мой вихрь умчал.
Еще издал я тяжкий стон.
Упал, как искра в копну, он
и вспыхнул пламенем на миг —
и пеплом стал. А третий крик
отдался в небе, как раскаты,
и даже вам он в грудь проник...
Лежите, трепетом объаты, —
но поздно, поздно, и увы! —
вам не поверят, как когда-то,
ни Бог, ни я, ни сами вы.
И вам не будет утешенья:
я душу сжег моим огнем,
и между нами цепи звенья
я навсегда рассек мечом.
Теперь на вас всю злобу волчью,
весь гнев, всю горечь изолью.

Я вас разлившеюся желчью,
своею кровью оплую.

И вот что мне поведал Он:
«В последний раз издай свой стон
и испусти свой вздох тяжелый,
чтоб задрожали горы, доли,
и крикни им:

«Народ, народ!

Настанет день и час придет, —
Я мощью одарю народы,
их путь залью зарей свободы,
и стройно жизнь их потечет.
Но будешь ты стучаться в дверь
к чужим в тоске, как я теперь.
И перед ними на колени
падешь с мольбою о спасеньи,
ища хоть луч, хоть искру света, —
но будет смех взамен ответа.
И светлый гений новый путь
откроет к новым дивным сводам
не вам, рабы, — иным народам.
О, разорвется ваша грудь
от стога среди ночной тиши!
И слез остатки, что таятся
на дне измученной души,
ведь наконец-то просочатся.
Бежать вы будете, как тени,
из края в край, из дома в дом,
и град вас встретит оскорблений,
как нищих на пиру чужом.
Просить пойдете ради Бога,

нся презрения печать.

В рубище, стоя у порога,
начнете раны открывать,
толпе показывать спеша,
и руку жалобно прострете,
и низко голову пригнете,
прося несчастного гроша.

И вам земля могилой станет,
беззвездной будет ваша ночь,
и жизнь, как мертвый лист, увянет,
ваш стон развеет вихорь прочь.

Уж гром гремит, идет гроза.

Пусть тяжела падет слеза,
как весь ваш непрощенный грех, —
вы все услышите лишь смех.

Ваши мольбы не долетят
до трона вечного Творца.

Вас вихрь умчит, поглотит ад,
ад без границ и без конца».

И рёк Господь:

«Пусть принесут
пророку глиняный сосуд,
а он о камни разобьет
и крикнет:

«Так погиб народ!»

Пусть крикнет, как грохочет буря.
Потом измученный, понуря
главу тяжелую на грудь,
без слез, без слов, угрюм, как тень,
пойдет в обратный долгий путь.
Но бьет ваш час и близок день!»

МАТЬ МАРИЯ (Елизавета Кузьмина-Караваева)
1891—1945

«ДВА ТРЕУГОЛЬНИКА — ЗВЕЗДА»

Два треугольника — звезда,
щит праотца, царя Давида,
избрание — а не обида,
великий дар — а не беда.

Израиль, ты опять гоним, —
но что людская воля злая,
когда тебе в грозе Синая
вновь отвечает Элогим?

Пускай же те, на ком печать,
печать звезды шестиугольной,
научатся душою вольной
на знак неволи отвечать.

ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ

1893—1930

ЕВРЕИ

Бывало,

начни о вопросе еврейском —
тебе собеседник ответит резко:

— «Еврей?

На Ильинке?

Все в одной линейке!

Еврей — караты,

еврей — валюта...

Люто богаты

и жадны люто.

А тут им

дают Крым!

Не карта, — козырь.

На лучшем месте

дворцы и розы».

Так врут

рабочим врагов голоса.

Но ты, рабочий,

но ты, —

ты должен смело взглянуть в глаза

еврейской нищеты.

И до сегодня

над Западным краем

слышатся отзвуки

стонов и рёва.

Это — «жидов»

за бунты карая,
тешилась
пуля и плеть царёва.
Как будто бы
у крови стока —
стоишь у столбца
статистических выкладок.
И липнет
пух из перин Белостока
к лежащим глазам,
которые выколоты.
Уставив зрачок
и желт и огромен,
глядело солнце,
едва не заплакав,
как там —
война
проходила в погроме:
и немец,
и русский,
и шайки поляков.
Потом демократы
во весь свой мах
громили дённо и ночью.
То шел Петлюра
в батарейных громах,
то плетью свистела махновщина.
Еще и подвал
от слез не высох, —
они выползали,
оставив нору.
И было в ихних Мюр-Мерилизах

гнилых сельдей

на неполный рубль.

И снова

смерд местечковых ям

да крови несмытой красная медь.

И голод

в ухо орал:

— «Земля!

Земля и труд

или смерть!»

Ни моря нет,

ни куста,

ни селеньица, —

худшее из худших мест на Руси —

место,

куда пришли поселенцы,

палаткой взвив

паруса парусин.

Эту пустыню

в усердии рьяном

какая жрала саранча?

Солончаки сменялись бурьяном,

и снова

шел солончак.

Кто смерит

каторгу их труда?!

Геройство — каждый дым,

и каждый кирпич,

и любая труба,

и всякая капля воды.

А нынче

течет ручьевая лазурь;

и пота рабочего
 крупный град
сегодня
 уже
 перелился в лозу,
и сочной гроздью
 повис виноград...
Люди работы
 выглядят ровно.
Взгляни
 на еврея,
 землей полированного.
Здесь
 делом растут
 коммуны слова:
узнай
 хоть раз из семи,
который
 из этих двух
 из славян,
который из них
 семиг.
Не нам
 со зверьими сплетнями знаться.
И сердце
 и тощий бумажник свой
откроем
 во имя
 жизни без наций,
 грядущей жизни
 без нищих
 и войн!

ХРИСТОФОР КОЛОМБ

Христофор Колумб был Христофор Колумб —
испанский еврей.

Из журналов

1

Вижу, как сейчас:

объедки да бутылки...

В портишке

известном лишь кабачком,

Христофор Колумб

и другие забулдыги

сидят,

нахлобучив шляпы бочком.

Христофора злят,

пристают к Христофору:

— «Что вы за нация?

Один Сион!

Любой португалишка

даст тебе фору!»

Вконец извели Христофора —

и он

покрыл

дисканточком

щелканье пробок

(задели

в еврее

больную струну):

— «Что вы лезете:

Европа да Европа!

Возьму

и открою

другую страну».

Дивятся приятели:

— «Что с Коломбом?
Вина не пьет, не ходит гулять.
Надо смотреть —
не вывихнул ум бы.
Всю ночь сидит,
раздвигает циркуля».

2

Мертвая хватка в молодом еврее, —
думает,
не ест,
не досыпает ночей;
лакеев
оттягивает
за фалды ливреи,
лезет
аж в спальни
королей и богачей:
— «Кораллами торгуете?!
Дешевле редиски.
Сам
наловит
каждый мальчуган.
То ли дело —
материк индийский —
не барахло:
бирюза,
жемчуга!
Дело верное:
вот вам карта.
Это океан,
а это —
мы.

Пунктиром путь —
и бриллиантов караты
на каждый полтинник,
данный взаймы».
Тесно торгашам.
Томятся непоседы:
по суху
и в год
не обернется караван.
И закапали
флорины и пезеты
Христофору
в продырявленный карман.

3

Идут,
посвистывая,
отчаянные из отчаянных.
Сзади — тюрьма.
Впереди —
ни рубля.
Арабы,
французы,
испанцы
и датчане
лезли
по трапам
Коломбова корабля:
— «Кто здесь Коломб?
До Индии?
В ночьку!
(Чего не откроешь,
если в пузе орган!)

Выкатывай на палубу белого бочку,
а там

вези

хоть к чёрту на рога!»

Прощанье — что надо.

Не отъезд — а помпа:

день

не просыхали

капли на усах.

Время

меряли,

вперяясь в компас.

Спьяна

путали штаны и паруса.

Чуть не сшибли

маяк зажженный.

Палубные

не держатся на полу,

и вот,

быть может,

отсюда, с Жижона,

на всех парусах

рванулся Коломб.

4

Единая мысль мне сегодня любя:

что эти вот волны

Коломба лапали;

что в эту же воду

с Коломба лба

стекали

пота

усталые капли;

144

что это небо,
землей обмеля,
на это вот облако,
вставшее с юга:
— «На мачты, братва!
глядите,
земля!» —
орал рассудок теряющий юнга.
И вновь
океан
с простора раскосого
вбивал
в небеса
громыхающий клин,
а после
брatался
с волной сарагосовой,
и вместе пучки травы волокни.
Он
этой же бури слушал лады.
Когда ж
затихает бури задор,
мерещатся
в водах Колумба следы,
ведущие на Сан-Сальвадор.

5

Вырастают дни в бородатые месяцы.
Луны
мрут
у мачты на колу.
Надоело океану,
Атлантический бесится.

Взбешен Христофор,
извелся Коломб.
С тысячной волны трехпарусник съехал.
На тысячу первую взбираться надо.
Видели Атлантический?
Тут не до смеха!
Команда ярится, —
устала команда.
Шепчутся:
— «Чёрту ввязались в попутчики.
Дома плохо?
И стол и кровать.
Знаем мы
эти жидовские штучки —
разные
Америки
закрывать и открывать!»
За капитаном ходят по пятам.
— «Вернись! — говорят,
играют мушкой. —
Какой ты ни есть
капитан-раскапитан,
а мы тебе тоже
не фунт с осьмушкой».
Лазит Коломб
на брамсель с ф́ока,
глаз аж навывкате,
исдухал лицом;
пустился во-всю:
придумал фокус
со знаменитым
Колумбовым яйцом.

Что яйцо?

— игрушка на день.

И день

не оттянешь

у жизни-воровки.

Галдит команда,

на Коломба глядя:

— «Крепка

петля

из генуэзской веревки.

Кончай,

Христофор,

собачий век!...»

И кортики воздух во тьме секут.

— «Земля!» —

Горизонт в туманной кайме.

Как я вот

в растущую Мексику

и в розовый

этот

песок на заре,

вглазелись...

Не смеют надеяться:

с кольцом экватора

в медной ноздре

вставал материк индейцев.

6

Года прошли.

В старика

шипуну

смельчал Атлантический,

гордый смолоду.

С бортов «Мажестиков»

любая шпана

плюет

в его

седоусую морду.

Коломб!

твое пропало наследство:

в вонючих трюмах

твои потомки

с машинным адом

в горящем соседстве

лежат,

под щеку

подложивши котомки.

А сверху,

в цветах первоклассных розеток,

катаясь пузом

от танцев

до пьянки,

в уюте читален,

кино

и клозетов

катаются донны, синьоры

и янки.

Ты балда, Коломб, —

скажу по чести.

Что касается меня,

то я бы лично,

я б Америку закрыл,

слегка почистил,

а потом

опять открыл —

вторично.

ЛЕВ МЕР

1822—1862

ЖИДЫ.

Жиды! Жиды! Как дико это слово!
Какой народ — что шаг, то чудеса.
Послушать их врагов — надменно и сурово
с высот грозят жидам святые небеса.

Быть может, и грозят. Но разве только ныне,
где вера в небеса, там и небесный гром,
а прежде без грозы народ свой вел в пустыне
сам Бог то облаком, то огненным столпом.

Теперь гонимей нет, несчастней нет народа,
нет ни к кому такой, как к ним, жидам, вражды,
но там, где понят Бог и понята природа,
езде они — жиды, жиды, жиды, жиды!

8 апреля 1860

СЕМЕН НАДСОН

1862—1887

**«Я РОС ТЕБЕ ЧУЖИМ,
ОТВЕРЖЕННЫЙ НАРОД»**

Я рос тебе чужим, отверженный народ,
и не тебе я пел в минуты вдохновенья.
Твоих преданий мир, твоей печали гнет
мне чужд, как и твои ученья.

И если б ты, как встарь, был счастлив и силен,
и если б не был ты унижен целым светом,
иным стремлением согрет и увлечен,
я б не пришел к тебе с приветом.

Но в наши дни, когда под бременем скорбей
ты гнешь чело свое и тщетно ждешь спасенья,
в те дни, когда одно название «еврей»
в устах толпы звучит, как символ отверженья,

когда твои враги, как стая жадных псов,
на части рвут тебя, ругаясь над тобою,
дай скромно стать и мне в ряды твоих бойцов,
народ, обиженный судьбою!

СНОВА У БАБЬЕГО ЯРА

Змеистый ров. Седой чертополох,
Я от обилья тишины оглох,
и от обилья света я ослеп.
В спокойствии не нахожу покоя.
Вода отравлена и горек хлеб, —
и не постигну: что ж это такое?
Взывают молча мертвые к живым.
Друзья, так неужели мы простили
и позабыли истины простые,
уже не нужные — навеки — им?
Детей сюда ведите. Скользким краем
заросшей ямы пусть пройдут опять...
Мы забываем? — Нет, не забываем!
Мы не имеем права забывать.

МИХАИЛ СВЕТЛОВ

1903—1964

СТИХИ О РЕБЕ

1

Осень в кучи листья собирает
и кружит, кружит по одному...
Помню: о чистилище и рае
говорил мне выцветший Талмуд.

Старый ребе говорил о мире,
профиль старческий до боли был знаком...
А теперь мой ребе спекулирует
на базаре прелым табаком.

Старый ребе не уйдет из храма...
На тревожном боевом посту
мне греметь тяжелыми стихами
под конвоем озлобленных туч.

... Знаю я: отец усердно молится,
замолвив сыновние грехи,
мне ж сверкающие крики комсомольца
перелить в свинцовые стихи.

2

Много дум на лице у старого ребе,
и каждой морщинке по многу лет.
Ждет его рай на высоком небе,
пыльный хедер ждет его здесь, на земле.

Далеко в мировой революции
затерялся Екатеринослав.
На извилины улиц
революция ребе второпях занесла.

Между землею и небом,
закружив ошалелые дни,
окатила голову ребе
новой волной седины.

Ну и пусть! Значит, так велено,
(не в своих руках человек...)
Тонких губ сухие расщелины
для жалоб закрылись навек.

Распластались у ног
взорванных дней осколки,
и блуждает на грани новых дорог
старый ребе в старой ермолке.

3

Покорились и согнулись плечи,
(ребе так устал...)

В старое,
 в Иерусалим,
 далече,
улетели за мечтой мечта.

Помнится:

 мальчиком я Тору разворачивал.
Ребе все твердил
про народ свой под Стеною Плача,
у разрушенных израильских твердынь.

За горами,
на востоке дальнем,
ту Стену Господь сберег
и велел еврею
быть печальным,
и велел молиться на восток.
Было страшно.
Было больно.
Было жутко...
(Это в прошлом. Это отошло).
А теперь я в кожаной тужурке
вижу маленького ребе (сам большой).

... Вот он сядет. Откроет Талмуд.
Новую истину сыщет в Талмуде.
А за окном пусть орут
сотни орудий.

И когда наш последний поход
развернется по ровной дороге,
старый ребе умрет
под упавшей стеной синагоги.

4

Повстречался недавно с ребе,
говорили о том, о сем...
Фунт простого, ржаного хлеба
дорожает с каждым днем.

По одежде гуляют заплаты,
взгляд прищурен, пейсы узлом...
Знает: новый прислал ультиматум
Ленину лорд Керзон.

Знает: многие в битве погибли,
еще многих зальет поток...
Ребе всё предскажет по Библии:
где, и когда, и что.

С берегов Палестин отдаленных
ребе первым услышит звон...
Старый ребе глупей, чем ребенок,
и умней, чем лорд Керзон.

1923

ХЛЕБ (Из поэмы)

1

Снова бродит луна
по полям бесконечных скитаний.
Словно в очередь к богу,
вразвалку лежат мертвецы.
Засыхает слюна
над застрявшей в гортани
отсыревшей полоской мацы.

Чтобы спрятать свой стыд,
чтобы скрыть свой позор от людей,
небеса над землей
опускают ночной горизонт.

Беспощадная ночь,
ты бы стала намного светлей,

если б ты поняла,
как смертельно устал Либерзон!

Дилижанс трясется и скрипит.
Самуил Израилевич спит.
Впереди круговоротом верст
распростерся полевой ковер.
Ветром донесло издалека
пьяное дыханье мужика.

Бродит полночь неживая
по местечкам разоренным.
Свежий ветер обдувает
мещанина Либерзона.

— «Господи!

Еще недоставало
в тухлом дилижансе простудиться.
Одолжи мне, Боже, покрывало
на мою худую колесницу!

«Или мало просьбы человека?
Или я тебе молился мало?
Или мертвая моя Ревекка
обо мне еще не рассказала?

«Ты ведь видел этих трупов груды,
дочерей моих ты видел тоже...
Ты смотрел на розовые груди,
ты смотрел и... засмотрелся, Боже!

«Через тучи песков, через версты пустынь,
через черную зелень еврейской весны,
неумыт и обшарпан пришел на Волянью
кочевой гражданин неизвестной страны.

«И если, о Господи, на одном из небес
ты найдешь мое счастье, то сжался над ним —
вынь все лучшие звезды свои и развесь
над заплаканным счастьем моим!

«Что-то дует сильно,
что-то спится слабо...
Разреши, Всесильный,
повернуться на бок».

Дилижанс трясется и скрипит,
Самуил Израилевич спит.
Звезды пожелтели — божьи плоды.
Позднее время — половина второго...
Тишина от земли до звезды,
от Меркурия
до Могилева.

2

Как струна в музыкальном ящике,
ветер вздрогнул среди домов.
Звезды тихие и дрожащие,
словно божьи приказчики
за прилавками облаков.

Ветра взбалмошная походка
вдоль по вывеске прокатилась,
где мечтательная селедка
на сосиски облокотилась.

Ветер мечется и кружится,
разговаривая неясно:
«Либерзон! Пора освежиться.
Либерзон! Погода прекрасна».

Покупатель ушел последний,
ужин праздничный приготовлен.
— «Ну, сыночек мой, ну, наследник,
день закончен, — конец торговле!»

Вечер в окнах стоит, обрисован
старомодною синевою.
Либерзон задвинул засовы,
моет руки перед едою.

И сидит за одним столом,
хлебом с маслом по горло сыт,
«Бакалейный торговый дом —
Самуил Либерзон и с—н».

Самовара большой костер
потухает в изнеможении.
Начинается разговор
философского направления:

— «Что ты видел, цыпленок куцый,
у окошка родного дома?
Отблеск маленькой революции
и пожар большого погрома.

«Озираясь на склоне дней,
тихо прошлое провожая,
не забудь, дорогой Моисей,
это имя — Игнат Можаяев.

«От погрома уйдя назад
в лицемерный приют полей,
он живет, Можаяев Игнат,
чтоб кормить и колоть свиной».

Весть летела из столицы
к деревенькам и станицам,
разбудила и вспугнула
задремавшие аулы
и присела на крылечко
у еврейского местечка.

С юго-западной стороны
ночь колышет колокола.
Это звезды вокруг луны
словно дети вокруг стола.

Молодая стоит луна
на житомирском берегу.
Над Житомиром тишина,
над Полонами тихий гул.

Озадаченный горизонт
собирает свои облака,
и стоит Моисей Либерзон,
поднимая знамя полка.

Ты с ума сошел, Моисей! —
Тишина и покой кругом.
Только ветер чужих степей
чуть колышет твой тихий дом.

Одеялом большим накрыт
твой отец, погруженный в сон,
и приходит к нему царь Давид,
и является царь Соломон.

В этой сказочной тишине,
в этом выдуманном раю

он с царями ведет во сне
интересное интервью.

Ночь пронесит сквозь синь степей
колыханье колоколов,
и опять идет Моисей
по равнинам военных снов.

Наблюдая полет ракет,
Моисей подошел к реке
с красным флагом в одной руке,
с револьвером в другой руке.

И не страшен разбег дорог
перешедшему вброд реку,
и стоит на Синае бог,
приготовившийся к прыжку.

Он у пропасти на краю
у последней своей звезды.
Пожелтели в его раю
запечатанные сады.

Пожалей его, Моисей —
бога прадедов и отцов!..
Громкий выстрел среди степей,
тихий стон среди облаков.

Над Житомиром тишина.
И гудит снаряд отдаленный,
словно падающая луна
с утомленного небосклона...

Посреди необъятных болот
середина поэмы встает,
и во тьме зажигается стих
и горит, чтоб согреть часовых.
Неспокойная полночь болот...
Разводящий не скоро придет.

— «В этой тьме погибать не резон, —
мы пропали с тобой, Либерзон!
Хорошо б на минутку прилечь...
И зачем нам болото беречь?»
Эта сырость, как черный туман,
Пропадает Можаяв Иван.

Над болотом гортанная речь:
— «Нам приказано — надо стеречь!
Скоро смена, — рассвет недалек.
Успокойся, Ванюша, дружок!»

Раздвигая болотную хмарь,
поднимает поэма фонарь,
и стоит на посту, освещен,
молодой Моисей Либерзон.

Посреди болотных пустырей
он стоит, мечтательность развеяв,
гордость нации, застенчивый еврей,
боевой потомок Маккавеев.

Под затвором молчалив свинец.
Где теперь его отец?
Он, наверно, в тишине ночной
медленно читает Тору,
будто долг свой — тяжкий и большой —
по частям выплачивает кредитору.

Влажен штык и отсырел приклад.
Моисея неподвижен взгляд.
(Может быть, ему издалека
запылала смуглая щека
дочери часовщика?..)

Полночь бродит над часовыми.
Мир вокруг без остатка вымер.
На четырнадцатой версте
пробегают сухая степь.
Там усталая спит Расея
без Ивана и Моисея.

Пусть в тумане заперты пути, —
не грусти, Можаяв, не грусти!
Ты из тех, кто ловит голубей, —
не робей, Ванюша, не робей!

— «Я грущу, товарищи, по дому.
Дума мучает меня одна:
для чего мне, парню молодому,
молодость бесплатная дана?

«Для того ли я без отдыха работал,
для того ли я страдал в бою,
чтобы это темное болото
засосало голову мою?

«В этой тьме погибнуть не резон, —
очень скучно умирать мне без людей.
Посади меня на лошадь, Либерзон,
дай мне в руки саблю, Моисей!

«Я тебе промчусь как атаман,
я врагов повырубаю враз.

Только, друг мой, убери туман
от моих заиндеветших глаз!

«Буду первым я в жестокой сече
с вытянутой саблей поперек,
Мы еще проскачем, Моисейчик,
мы еще поборемся, браток!

«Или будет нам обоим крышка,
иль до гроба будем вместе жить.
Никогда не думал я, братишка,
что жиды могу я полюбить.

«Я тебя своей любовью грею,
я с тобою мучаюсь тут,
потому что на земле евреи
симпатичной нацией живут.

«Долго ли осталось нам томиться?
Скоро ли окончится поход?
Говорят, что скоро за граница
тоже по-советски заживет.

«Старой жизни навсегда капут, —
будет жизнь куда вкусней и гуще.
Будет хлеб: пятиалтынный пуд,
и еще дешевле неимущим.

«Будет каждый жить свой долгий век,
в двести лет справляя именины.
Я хотя и темный человек,
ну, а все же верю в медицину».

И мечты рассыпались вслепую,
и пронесся ветер впопыхах,
будто музыка прошла, танцуя
на своих высоких каблуках.

Утомленная спит Расея
без Ивана и Моисея.

Выше, выше голову,
Моисей Самойлович!
Песню мою — на тебе,
Иван Игнатьевич!
Возьми и неси ее
над нашей Россией!

5

Скорый поезд сквозь снега летит.
Самуил Израилевич спит.
Приближаются с двух сторон
царь Давид и царь Соломон.

— «Рад вас видеть, друзья, всегда!
Я в Житомир, — а вы куда?»

Тихо слушает весь вагон,
что рассказывает Соломон.
Говорят о делах и о родине
два царя и один верноподданный.
Тихо вслушивается вагон,
тихо жалуется Либерзон:

— «Сын мой умер во цвете лет.
Почему его с вами нет?
Мой наследничек, мой сыночек!
Ты приснишь мне хоть бы разочек!»

Кроткой ласкою до зари
утешают его цари...

Поезд круто затормозил,
просыпается Самуил.
Пассажиры кругом сидят
очень мирно и очень мило,
и глядит Можяев Игнат
на смущенного Самуила.
Часто думаешь: враг далёко, —
враг, оказывается, под боком.
Беспощадная ночь погрома...
Самуил опускает взгляд.
Пусть враги, но все же — знакомы...
— «Здравствуйте!» — «Очень рад!»
И улыбка дрожит виновато
в поседевших усах Игната.
И неловок и смущен,
говорит он, заикаясь:
— «Извиняюсь очень, Либерзон,
за ошибку свою извиняюсь!
За изнасилованных дочерей,
за разбитые ящики вашего комода
я очень извиняюсь, товарищ еврей,
бывшая жидовская морда!
Был я очень уж молодым
и к тому же довольно пьяным,
был я темным, был слепым,
несознательным хулиганом».

И стучит, стучит учащенно
сердце старого Либерзона.
Эта речь его душу греет,
словно дружеская услуга:
извиниться перед евреем,
значит стать его лучшим другом.

— «Я очень доволен! Я рад чрезвычайно!
Допускаю возможность, что погром — случайность,
что гром убил моих дочерей,
что вы — по натуре почти еврей.
Знаете новость: погиб мой сын!
Сижу вечерами один, один!
Глухо стучит одинокий маятник...
Игнатий Петрович, вы меня понимаете?»

Только ветер и снег за окном
и зари голубое зарево, —
и сидят старики вдвоем,
по-сердечному разговаривая.

Пробегая леса и степи,
вьюга мечется по Руси.
Человеческий теплый лепет,
вьюга, вьюга, не погаси!
Чтобы поезд в снегу не увяз,
проведи по путям вагоны,
чтобы песня моя неслась
от Можая к Либерзону,
чтобы песня моя живая,
чтобы песня моя простая
громко пела бы, вырастая,
и гудела б, ослабевая.

1929.

ПОД ВЕЧЕР

Девушка моего наречья,
по-вечернему тиха и смугла,
приходила ко мне под вечер
быть любимой — и не могла.

И глаза ее, темные-темные,
древней грустью цвели, цвели...
Я ж люблю, чтобы лил в лицо мне
светлых глаз голубой прилив.

Так всегда. После первой встречи,
по любимой затосковав,
к девушке чужих наречий
тянутся мои слова.

И лишь изредка, лишь случайно,
только в окна заглянет мгла,
выплывает старая тайна
из глубин голубых глаз.

Мгла — не мгла, а седой пергамент
разворачивается у век,
и я чувствую: под ногами
уж не тот шевелится век.

И мне кажется: земля моложе,
сверху — небо, внизу — зима,
и на снежном бездорожье
одинокая корчма.

Дед мой мечется от стойки к пану,
и от пана к стойке назад.
Пан на влажное дно стакана
уронил свирепеющий взгляд.

И я вижу в любимом взгляде
женских глаз, голубей степей,
как встает их разбойный прадед
и — веселой забавы ради —
рвет и щиплет дедовский пейс.

Я гляжу — и не пляшет, не свищет злоба
в затуманенной голове.

Оттого ли, что, должно быть,
кровь меняется каждый век,

оттого ли, что жизнь моя отдана
дням беспамятства и борьбы,
мне, не имевшему родины,
родину легче забыть.

И при первой случайной встрече
так легко мне совсем забыть,
так легко мне не полюбить
девушку моего наречья.

1923.

ЕВРЕЙ-ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ

Скоро маленькие ростки
кверху голову приподымут.
По сравнению с городским
здесь довольно приятный климат.
Словно дети, к себе маня,
из-за каменного сарая
молодые сады в меня
яблоками швыряют.

Черный пес впереди бежит,
поднял голову, смотрит гордо.
Назови его только «жид», —
он тебе перекусит горло.
Он бежит впереди меня.
— «Собакевич вы мой, запомните:
вы живете с этого дня
в конуре, как в отдельной комнате».
Ветерок заиграл слегка
бороды моей сединою.
Как полиция, облака
собираются надо мною.
Вечереет, и впотьмах
брызжут капельки дождевые,
будто плачут о старых днях
постаревшие городовые.
Мне бывает чего-то жаль,
как жалеют о чем-то дети.
Где ты скрылась, моя печаль?
Где живешь ты теперь на свете?
Светлый ветер, резвясь, унес
и развеял тебя по пустыне, —
Иорданом соленых слез
я не встречу тебя отныне.
Надо мною слова плывут —
скоро песня в полях родится:
это дети мои поют,
это слушает их пшеница.
Я усядусь в кругу семьи...
Ах, ведь я опоздаю снова, —
обещал я прийти к семи,
а сейчас уже полвосьмого.

1927.

ИЛЬЯ СЕЛЬВИНСКИЙ

1899—1968

Я ЭТО ВИДЕЛ

Можно не слушать народных сказаний,
не верить газетным столбцам,
но я это видел. Своими глазами.

Понимаете? Видел. Сам.

Вот тут дорога. А там вон — взгорье.

Меж ними

вот этак

ров.

Из этого рва подымается горе,
горе без берегов.

Нет! Об этом нельзя словами...

Тут надо рычать! Рыдать!

Семь тысяч расстрелянных в мерзлой яме,
заржавленной, как руда.

Кто эти люди? Бойцы? Нисколько.

Может быть, партизаны? Нет.

Вот лежит лопоухий Колька —
ему одиннадцать лет.

Рядом истерзанная еврейка.

При ней ребенок. Совсем как во сне.

С какой заботой детская шейка
повязана маминым серым кашне...

О, материнская древняя сила!

Идя на расстрел, под пули идя,
за час, за полчаса до могилы
мать от простуды спасала дитя.

Но даже и смерть для них не разлука:
не властны теперь над ними враги —
и рыжая струйка из детского уха
стекает в горсть материнской руки.

Как страшно об этом писать. Как жутко.

Но надо. Надо! Пиши!

Фашизму теперь не отделаться шуткой:
ты вымерил низость фашистской души,
ты осознал во всей ее фальши
«сентиментальность» пруссацких грез,
так пусть же сквозь их голубые вальсы
горит материнская эта горсть.

Иди ж! Заклейми! Ты стоишь перед бойней.

Ты за руку их поймал — уличи!

Ты видишь, как пулею бронебойной
дробили нас палачи.

Так загреми же, как Дант, как Овидий,
пусть зарыдает природа сама,
если всё это сам ты видел
и не сошел с ума.

... Нет, есть у нас и такая речь,
которая всяких слов горячее:
врагов осыпает проклятьем картечь,
глаголом пророков гремят батареи.
Вы слышите трубы на рубежах?
Смятенье... Крики... Бледнеют громилы.
Бегут. Но некуда им убежать
от вашей кровавой могилы...

Ров... Поэмой ли скажешь о нем?

Семь тысяч трупов.

Семиты... Славяне...

Да! Об этом нельзя словами:

Огнем! Только огнем!

Керчь, 1942.

СТРАШНЫЙ СУД

В этот день в синагоге
мало кто думал о боге.
Здесь плакали, рыдали,
рвали ворот на вые,
стенали и просто рычали,
как глухонемые.

Когда же сквозь черный ельник
Юпитер взглянул на порог,
в рыдающей молельне
взвыл бычачий рог.

Был в этом древнем вое
такой исступленный стон,
как будто всё вековое
горе выкрикивал он!
Всю тоску и обиду,
мельчайшей слезинки не пряча,
глубже псалмов Давида
выхрипел рог бычачий.
Пока он вопил от боли,
пока он ревел, зверея,
на улицу вышли евреи,
не убиваясь более:
теперь от муки осталась
тихая усталость.

Их ждали уже катафалки,
щиты библейской легенды,
искусственные фиалки,
смолистые елки, ленты.
Взглянув на пустые гробы,
поплелся раввин гололобий;
одеты в суконные латы
и треуголки Галлии,
подняв на плечи лопаты,
факельщики зашагали;
сошел с амвона хор,
спустились женщины с хор —
и двинулись толпы в застенки
к бывшему «Лагерю смерти»,
дабы предать убиенных
тверди.

Но где же трупы, которые
грудой, горой, мирами
лежали у крематория,
помеченные номерами?
Где пепел хотя бы? Могила?
И вдруг — во взорах отчаянных
оплывы сурового мыла
блеснули в огромных чанах.
Глядите и леденейте!
Здесь не фашистский музей:
в отцов тут вплавлены дети,
жены влиты в мужей.

... О, что же ты скажешь, рабби,
пастве своей потрясенной?
Ужели в душонке рабьей
ничего, кроме стога?

Но рек он, тряся от дрожи
бородкой из лисьего меха:
— «В'огавто л'рейхо комейхо»¹
Все земное во власти божьей...»

А в вечеряющем небе
бесстрастье весенней тучи.
И кто-то: «— Вы лжете, ребе!» —
закричал и забился в падучей.

— «Ложь!» — толпа загремела.
— «Ложь!» — застонало эхо.
И стала белее мела
бородка из рыжего меха.

А тучу в небе размыло —
и пал оттуда на слом
среди блеска душистого мыла
архангел с разбитым крылом...

За ним херувимов рой,
теряющих в воздухе перья,
и прахом, пухом, пургой
взрывались псалмы и поверья!

А выше, на газ нажимая,
рыча, самолеты летели,
не ждавшие в месяце мае
такой сумасшедшей метели.

1960.

¹) «Люби ближнего, как самого себя» (иврит).

БОРИС СЛУЦКИЙ

1919

«КАК УБИВАЛИ МОЮ БАБКУ?»

Как убивали мою бабу? —

Мою бабу убивали так:
утром к зданию горбанка
подошел танк.

Сто пятьдесят евреев города,
легкие

от годовалого голода,
бледные

от предсмертной тоски,
пришли туда, неся узелки.

Юные немцы и полицаи
бодро теснили старух, стариков,
и повели, котелками бряцая,
за город повели,
далеко.

А бабушка маленькая, словно атом,
семидесятилетняя бабушка моя
ругала немцев,

крыла матом,
кричала немцам о том, где я.

Она кричала: — «Мой внук на фронте.
Вы только посмейте,
только троньте!

Слышите?

Наша пальба слышна!»

Бабка плакала и кричала
и шла.

Опять начинала сначала
кричать.

Из каждого окна
шумели Ивановны и Андреевны,
плакали Сидоровны и Петровны:
— «Держись, Полина Матвеевна!
Кричи на них. Иди ровно!»

Они шумели:

«— Ой, що робыць,
з отым нимцем, нашим ворогом?»
Поэтому бабку решили убить,
пока еще проходили городом.

Пуля взметнула волоса,
выпала седенькая коса,
и бабка наземь упала, —
так она и пропала.

«ОТЯГОЩЕННЫЙ РОДСТВЕННЫМИ ЧУВСТВАМИ»

Отягощенный родственными чувствами,
я к тете шел, чтоб дядю повидать,
двоюродных сестер к груди прижать,
что музыкой и прочими искусствами,
случалось,

были так увлечены.

Я не нашел ни тети и ни дяди,
не повидал двоюродных сестер.

Но помню,

твердо помню до сих пор,
как их соседи, в землю глядя,
мне тихо говорили: «сожжены».

Все сожжено: пороки с добродетелями
и дети с престарелыми родителями.
И я стою пред тихими свидетелями
и тихо повторяю:

«сожжены»...

1952

БЕРЕЗКА В ОСВЕНЦИМЕ

Березка над кирпичною стеной,
случись,

когда придется,
надо мной!

Случись на том последнем перекрестке!
Свидетелями смерти не возьму
платан и дуб.

И лавр мне — ни к чему.
С меня достаточно березки.

И если будет осень,
пусть листок
спланирует на лоб горячий.
А если будет солнце,
пусть восток
блеснет моей последнею удачей.

Все нации, которые — сюда,
все русские, поляки и евреи,
березкой восхищаются скорее,
чем символами быта и труда.
За высоту,

за белую кору

тебя

последней спутницей беру.

Не примирюсь со спутницей иною!

Березка у освенцимской стены!

Ты столько раз

в мои

вращала сны.

Случись,

когда придется,

надо мною.

В ЗЕМЛЮ ОБЕТОВАННУЮ

— «Покинь скорей родимые пределы,
и весь твой род, и дом отцов твоих,
и как стрелку его покорны стрелы,
покорен будь глаголам уст Моих.
Иди вперед, о прежнем не тоскуя,
иди вперед, все прошлое забыв,
и все иди, доколь не укажу Я,
куда ведет любви Моей призыв».

Он с ложа встал, и в трепетном смущенье
не мог решить — то истина иль сон...
Вдруг над главой промчалось дуновенье
нездешнее — и снова слышит он:

— «От родных многоводных Халдейских равнин,
от нагорных лугов Арамейской земли,
от Харана, где дожил до поздних седин,
и от Ура, где юные годы текли, —
не на год лишь один,
а на много годин,
а на вечные веки уйди».

И он собрал дружину кочевую,
и по пути воскреснувших лучей
пустился в даль туманно-голубую
на мощный зов таинственных речей:

— «Ты вперед поспешай
по прямому пути,
на пути отдыхай
и к полудню на солнце гляди.

В стороне ж будет град или весь,
мимо ты проходи,
и иди, все иди,
пока сам не скажу тебе: здесь!

Я навеки с тобой.
Мой завет сохрани:
чистым сердцем и крепкой душой
будь Мне верен в ненастье и в ясные дни.

Ты ходи предо Мною
и назад не гляди,
а что ждет впереди —
то откроется верой одной.

И клянусь Я Собою,
обещаю любя:
Я воздвигну всемирный Мой дом из тебя,
и прославят тебя все земные края,
и из рода потомков твоих
выйдет мир и спасенье народов земных».

СРУЛЬ

Мы седые... А помнишь, — весною хорошей
как звенят под ветрами в душе голоса?
Я их помню — виски мне покрыло порошей,
я их помню, как пленная птица — леса.

Уж и сын у тебя! Его сердце большое
всех вместит, кому тесно в неправде и зле.
К хуторам близ Диканьки он ближе душою,
чем ко всем остальным хуторам на земле.

Он с Тарасом слезает с коня, и Андрия
он пытается, ружье доставая с плеча.
Он бледнеет, когда отступает Мария
от отца для Мазепы, его палача.

Ну, и Янкеля жаль — не за преданность Сечи,
его сестрам втыкавшей ножи в животы, —
просто жаль. Кто же мальчика взял бы за плечи:
— «Что ты знаешь о Янкеле? Внук ему ты!

Ты читал про шинок и комичные пейсы.
А еще? Об индейцах прочел ты тома?
Нет, из собственной чаши, мой мальчик, напейся,
чтобы взвесить всю тяжесть чужого ярма»...

Так он рос. Увлеченья, товарищи, грезы.
Сколько собрано в книгах высоких имен!
Кампанелла и Гус, Уленшпигель и гёзы...
Только раз был отец непонятно смущен.

— «Папа, кто это Сруль? Ты теперь нам не Славка, мне сказали ребята, — ты Сруль, сын Сруля».
— «Просто имя. Знавал я — табачная лавка... Впрочем, мальчики дрянь. Ну, читаешь Золя?»...

Плохо, брат, ты обходишь подводные скалы!
Есть теченья, где может сломаться твой руль.
Видно, мальчику в память глубоко запало,
и он думает, думает: кто это Сруль?

Все случилось, как должно. С раскрытой душою
не спастись, когда ветер подует сильней.
Не сегодня, так завтра, но в сердце большое
угодит же какой-то из груды камней.

И восстанет в нем все, что от века до века
в нас посеяли книги, и песнь, и гранит.
Ты не ждал? Так зачем ты растил человека?
Ты забыл, как душа под ветрами звенит?

СКАЗОЧНЫЙ ПРИНЦ

Не будь, как все. От детства сохрани
свои мечты, и в жизненную слякоть
их не бросай. Припомни, как в те дни
над книгою могла ты горько плакать,
готовая, страдая и любя,
на подвиги. Ты помнишь ли себя?

Ты девочкой сказала раз шутя:
«Я буду ждать, — я принца жду из сказки».
А как теперь? Ты больше не дитя
и видишь жизнь во всей красе без маски.

Есть принц или нет? И как его узнать?
Спроси свою измученную мать.

Спроси ее! Не мраморный дворец,
не тихий сад, не громкие деянья
в своем венце принес ей твой отец, —
а долгие, большие испытанья,
и годы слез и горестных тревог —
вот царство всё, какое дать он смог.

Погиб отец на дальнем берегу.
Чье повторял он имя, умирая, —
не знаю я. Но рассказать могу,
как в юности рвались к родному краю,
какая мысль вела нас в эти дни, —
сумей понять. На мать свою взгляни!

Так где же принц? Удастся ли тебе
утешиться ничтожной малой частью
в намеченной по прописям судьбе?
Удастся ли отмеренное счастье
найти, как всем, в житейском колесе?
И вправе ль ты такую быть, как все?

Когда в глазах задумчивых прочту
один вопрос, настойчивый и ясный,
один вопрос — не смутную мечту! —
поверю я, что юность не напрасно
мы провели в кругу друзей с отцом.
Всё сбудется — владей тогда венцом!

К САБРЕ¹

Ты вырос не в чаду притворства,
корыстной верности и низменных похвал.
Твой хлеб расчетливо и черство
слезой сирот и вдов никто не поливал.

Полит он собственной кровью
от первой борозды до нынешнего дня —
то хлеб любви без пустословья,
без лицемерных клятв и ложного огня.

Там хлеб другой и зреть не может,
где песнь восстания поет земля сама, —
кто молча ухо к ней приложит,
услышит звон мечей по дереву ярма.

От той земли ты выпил сока,
играл в ее траве и ел ее плоды.
В отравленном чаду высоко
протянут тонкий луч от сердца до звезды.

Как жду, как жажду я, чтоб саброй
родился у меня хоть младший из внучат,
с душой прозрачной, гордой, храброй,
перед которой ненавистники молчат.

¹) Сабра — на иврите «цабар» — кактус; шутивное прозвище израильской молодежи, внешне резкой, как колючий кактус, внутренне же добродушной, как его сладкий плод.

ПОЧТОВАЯ МАРКА

Мы лжем себе, спеша нетерпеливо
открыть письмо: плоха, добра ли весть,
родился ль кто, влюбился ли счастливо —
забудем вмиг, едва успев прочесть.

И для себя того же мы заслужим,
и весть о нас не тронет никого:
как жизнь провел, кому в ней был ты нужен.
и, наконец, скончался от чего.

А где та весть, чтоб осветила ярко
нам эту ночь, снега ее и льды?
Сумей прочесть пять древних букв: вот марка,
почтовый знак и имя — «Сын Звезды».

Трепещет мир в когтях железных Рима.
Давно ли в нем свобода умерла?
Восставшим — казнь. Кресты — неумолимы.
Пощады нет от хищного орла.

Но есть страна, за морем на востоке, —
в ней, маленькой, народ неукротим.
Пусть Рим силен и казни пусть жестоки —
мятеж горит: «Долой, проклятый Рим!»

Войска идут из Рима, словно тучи,
но вся страна в ответ встает на бой —
так бьет волна, и чем преграда круче,
тем яростней вздымается прибой.

Пока в стране есть хоть один, кто может
оружье взять, — всё те же видит Рим
огни в горах, и слышит эхо то же:
«К восстанию! Свободу отстоим!»

Последние пришли, когда костер свой Симон
зажег в горах, и он их не спросил —
что лучше: жить в ярме невыносимом
иль восставать, пока достанет сил.

Спроси реку — стоять иль течь ей надо?
Пусть от нее останется ручей,
но льется он, но бьется о преграду...
Сто лет в стране не молкнет звон мечей.

Детей и жен не отдавали плену,
и, падая на собственный свой меч,
не падали пред Римом на колени:
свободным жить — свободным в землю лечь.

И пламя тех костров светило ярко
во тьме веков, сквозь их снега и льды.
Нам новый свет с простой почтовой маркой
внес почтальон: Бар-Кохба, Сын Звезды

прислал нам весть. Горит она, живая,
и жить зовет. Она не просто весть,
какую ждем мы, письма открывая,
и забываем, не успев прочесть.

ИОСИФ УТКИН

1903—1944

ПОВЕСТЬ О РЫЖЕМ МОТЭЛЕ

(Отрывки из поэмы)

1

ДО БЕЗ ЦАРЯ И НЕМНОГО ПОСЛЕ

И дед и отец работали.
А чем он лучше других?
И маленький рыжий Мотэле
работал
за двоих.

Чего хотел — не дали.
(Но мечты его с ним!)
Думал учиться в хедере,
а сделали
портным.
«— Так что же? Прикажете плакать?
Нет так нет!»
И он ставил десять заплаток
на один жилет.
И...
(Это, правда, давнее,
но и о давнем не умолчишь) —
по пятницам Мотэле давнэл,¹
а по субботам ел фиш.²

¹) молился (идиш).

²) рыбу (идиш).

ЖИЛИ-БЫЛИ

Сколько домов пройдено,
столько пройдено стран.
Каждый дом — своя родина,
свой океан.

И под каждой слабенькой крышей,
как она ни слаба, —
свои мыши,
свое счастье,
своя судьба...

И редко, очень редко —
две мыши на одну щель!
Вот: Мотэле чинит жилетки,
а инспектор носит портфель.

И знает каждый по городу
портняжью нужду одну.
А инспектор имеет хорошую бороду
и хорошую жену.

...Счастье — оно игриво.
Жди и лови.
Вот: Мотэле любит Риву,
но... у Ривы отец — раввин.

А раввин говорит часто
и всегда об одном:
«Ей надо большое счастье
и большой дом».

Так мало, что сердце воет,
воет, как паровоз.
Если у Мотэле всё, что большое,
так это только
нос.

«— Ну, что же? Прикажете плакать?
Нет так нет!»
И он ставил заплату
и на брюки и на жилет.

... Да, под каждой слабенькой крышей,
как она ни слаба, —
свое счастье, свои мыши,
своя судьба.

И сколько жизнь ни упряма,
меньше, чем мало, — не дать.
И у Мотэле была мама,
еврейская старая мать.

Как у всех, конечно, любима.
(Э-э-э... об этом не говорят!)
Она хорошо варила цимес¹
и хорошо рожала ребят.
И помнит он годового
и полугодовых...

Но Мотэле жил в Кишиневе,
где много городовых,
где много молебнов спето
по царской родовой,

¹) Еврейское традиционное блюдо из моркови.

где жил... господин... инспектор
с красивой бородой...

Трудно сказать про омут,
а омут стоит у рта:
всего... два... погрома...
И Мотэле стал сирота.

А дни кто-то вез и вез.
И в небе без толку
висели пуговики звезд
и лунная ермолка.

И в сонной, скупой тиши
мыши пугали скрипом.
И кто-то
шил
кому-то тахрихим¹

3

ПРИ ЧЕМ И НЕ ПРИ ЧЕМ

Этот день был таким новым,
молодым, как заря!
Первый раз тогда в Кишиневе
пели не про царя!

... Брюки,

жилетки,

смейтесь!

¹) саван (идиш, иврит).

Радуйтесь дню моему:
гос-по-дин по-лиц-мейстер
сел
в тюрьму!

Ведь это же очень и очень,
боже ты мой!
Но почему не хохочет
господин городской?
Редкое, мудрое слово
сказал сапожник Илья:
— «Мотэле, тут не при чем Егова,
а при чем — ты
и я».

...А дни кто-то вез и вез.
И в небе без толку
висели пуговицы звезд
и лунная ермолка.

И в сонной, скупой тиши
пес криворотый лаял.
И кто-то
крепко сшил
тахрихим
Николаю!

Этот день был таким новым,
молодым, как заря!
Первый раз тогда в Кишиневе
пели не про царя!

ЧУДО НЕКИШИНЕВСКОГО МАСШТАБА

Слишком шумный и слишком скорый
этих лет многогамный гвалт.
Ой, не знала, должно быть, тора,
и раввин, должно быть, не знал!
Кто подумал бы,
кто бы поверил,
кто поверить бы этому мог?
Перепутались мыши, двери,
перепутались нитки дорог.

В сотый век —
и, конечно, не чаще
(это видел едва-ли Ной!)
по-портняжьему
робко счастье
и, как счастье,
неробок портной.

Многогамный, премудрый гомон!
Разве думал инспектор Бобров,
что когда-нибудь без погромов
проблаженствует Кишинев?!
Кто подумал бы,
кто бы поверил,
кто поверить бы этому мог?
Перепутались мыши, двери,
перепутались нитки дорог.

В ОБЩЕМ ФОКУСЕ

Что значит:

хочет человек?

Как будто дело в человеке!

Мы все, конечно, целый век
желаем золотые реки.

Все жаждем сахар, так сказать, —
а получается иначе.

Да, если хочешь хохотать,
то непременно
плачешь.

Но дайте жизни...

новый век...

Иной уют,

иная крыша —

и тот же самый человек
вам будет на голову выше.

Для птицы главное — гнездо.

Под солнцем всякий угол светел.

Вот Мотэле —

он «от» и «до»

сидит в сердитом кабинете.

Сидит как первый человек.

И «нет так нет»

здесь не услышишь.

В чем фокус? Тайна?...

Новый век.

Иной уют,

иная крыша...

О—о—о, время!
Плохо... Хорошо...
Оно и так
и этак вертит.
И если новым
срок пришел,
то, значит, старым —
время смерти!

6

ПОГРЕБАЛЬНАЯ

Комната... тихо... пыльно.
Комната... вечер... синь.
Динькает будильник:
динь.... динь.... динь...

Час кончины —
он приходит
тихо-тихо.
Не услышишь.
И уходит молча счастье,
и уходят мыши.
Только горе неизменно.
Заржавел пасхальный чайник! —
И задумаются стены.
И —
молчанье.
Он заснежит, он завьюжит
в полночь, ветер белорукий...
И совсем теперь не нужен
ни талмуд,
ни брюки.

Тихо.

Сумрак нависает.

Не молитва

и не ужин...

Пусть по-новому, Исая,

стол тебе послужит.

А потом — к иному краю,

в рай, конечно, не иначе...

Тихо!

Свечи догорают.

Тихо.

Сарра плачет...

О-о-о, время!

«Плохо»... «Хорошо»...

Оно и так

и этак вертит,

и если новым

срок пришел,

то, значит, старым —

время смерти...

Да, если новым срок пришел,

то, значит, старым —

фэртиг...¹

Иркутск—Москва

1924—1925

¹) готово, конец (идиш).

СЕМЕН ФРУГ

1860—1916

ЕВРЕЙСКАЯ МЕЛОДИЯ

И зорек глаз, и крепки ноги,
и посох цел... Народ родной,
зачем ты стал среди дороги,
поник седою головой?
Ты не один. Взгляни: толпой
к тебе твои вернулись дети.
Прими же их, — и всей семьей
ты к сонму будущих столетий,
через бездну мук, через цепь невзгод
иди вперед!

Вперед — под звуки старой песни!
Века грядущие зовут,
и громамы нам кричат: воскресни!
и бури гимны нам поют.
И под громами и под тучей,
на зов святой, на зов могучий —
через бездну мук, через цепь невзгод
смелей, седой старик-народ,
вперед! вперед!

КЕДРЫ ЛИВАНА

(Отрывок)

Забыто все... Кругом могилы,
обломки пыльные руин.
В чужих краях, больной и хилый,
без цели бродит блудный сын.

О, нет наречья, на котором
он не молил бы, не рыдал
над вековым своим позором,
над горькой долей не стонал.
И лишь один, как средь пустыни
цветок долин в полдневный зной,
язык отцов, язык святыни,
о блудный сын, забыт тобой.
Забыт тобою кедр единый,
последний страж ливанских скал.
Его не тронул вихрь пустынный,
не затопил кипучий вал,
и не могли убить ни время,
ни издевательства врагов,
ни вековых запретов бремя,
ни пламя грозное костров.
Убило темное забвенье,
стерев последние черты;
убили холод отчужденья
и мрак душевной пустоты.
Да, дети блудные народа!
Я вижу с горем и стыдом:
не помня племени и рода,
забыв отца и отчий дом,
из поколения в поколенья,
и все усердней и полней
несем мы это отчужденье.
И долго ждать ли нам тех дней,
когда и надписи унылой
мы не сумеем прочитать
на ветхом камне той могилы,
где опочила наша мать?

ДЕВЯТОЕ АБА'

Священный храм горел. На улицах Солима
заклания вершил рукой кровавой Рим.
Сам ужас пролететь спешил, казалось, мимо,
безумием жестокости гоним.

И среди руин библейской сени,
при зареве огней сверкая медью лат,
стоял и хохотал в свирепом упоенье
от крови обезумевший солдат:

— «Ни алтаря, ни родины! О жалкий,
ничтожный раб! Тебя спасут ли небеса,
как станут отгонять тебя с порога палкой
и костью вновь приманивать, как пса?»

— «Ни алтаря, ни родины!» — как эхо
звучит среди трупами покрытых площадей,
и взрываю вражеского смеха
вторят бичи и звон цепей.

Но чей вдали раздался голос чудный:

— «Ты ошибаешься, слепой, бездушный Рим!
Не овладеть тебе с твоей гордыней блудной
ни родиной моей, ни алтарем моим.

Я верю, что Господь — родник добра и света.
С первоначальных дней и до конца времен
душа моя была и будет Им согрета
и в ней владычествует Он.

И верю я, что жить должны мы все, как братья,
любовью и добром свой украшая век;

¹⁾ См. примечание к стихотворению С. Маршака
«Как странно, что поток бурливый» из цикла «Пале-
стина», 2.

что человека подвергать проклятью
не должен и не может человек;
что каждый стон души, стон жертвы злобы дикой,
для слуха нашего умолкший без следа,
пред Господом звучит живой уликой
и не умолкнет никогда;
что каждую слезу обиды неотмщенной
Господь из тьмы и праха призовет
и злой душе, насильем заклеянной,
горючей каплей яда отольет.
И этой веры храм живой, нерукотворный,
ни стали, ни огню вовеки непокорный,
я буду воздвигать, во славу небесам,
в скитальчестве моем по всем земным краям.
И если ныне нет к нему дороги,
не все ль равно? Мой край, взлелеянный мечтой,
цветет в душе моей; и светлые чертоги
я вижу там, где мрак и прах перед тобой».

Тот голос веры в силу жизни,
в святое торжество добра грядущих дней,
ты слышишь ли теперь, мой брат по этой тризне,
печальной тризне родины твоей?

СЕЯТЕЛЯМ

**«Идет и плачет несущий посев,
пойдет с пением несущий снопы свон».**

Пс. 126, ст. 6

Я не был меж вами в то время, когда
от родных берегов, где кипела вражда,
уносило вас бурное море, —

но меж вами и мною незримой струной
в те мгновенья звучало молитвой одной
наше общее жгучее горе.

Я не был меж вами в то время, когда
среди тяжелых невзгод, для борьбы и труда
вы вступали на берег угрюмый, —
но незримой струной между вами и мной,
протянувшись, звучали надеждой одной
наши общие светлые думы.

Увы! Мне в удел не дано от судьбы
ни руки для труда, ни меча для борьбы:
песня — меч мой и щит мой для битвы.
И в свободную гордую песню мою
я все ваши страданья, всю скорбь перелью,
все надежды, мечты и молитвы, —

за то, что под гнетом вражды роковой
не поникли вы гордой своей головой,
что не пали рабами бессилья,
и на труд и борьбу, среди лишений и бед,
но с великим залогом грядущих побед
унесли вас свободные крылья.

И время придет — ваш потомок прочтет
повесть ваших страданий, трудов и забот, —
и тот путь, орошенный слезами,
по которому шли вы с поникшей главой,
он устелет душистой весенней травой,
уберет золотыми цветами.

МАРИНА ЦВЕТАЕВА

1892—1941

ИЗРАИЛЮ

Кто не топтал тебя и кто не плавил,
о, купина неопалимых роз, —
единое, что на земле оставил
незыблемого по себе Христос?

Израиль! Приближается второе
владычество твое! За все гроши
вы кровью заплатили нам. Герои!
Предатели! Пророки! Торгаши!

В любом из вас, кто даже при огарке
считает золотые в узелке,
Христос сильнее говорит, чем в Марке,
Матвее, Иоанне и Луке.

По всей земле — от края и до края —
распятие и снятие с креста.
С последним из сынов твоих, Израиль,
воистину мы погребем Христа.

«ЗА ГОРОДОМ! ПОНИМАЕШЬ!»

(Из «Поэмы конца»)

За городом! Понимаешь? За!
Вне! Перешед вал!
Жизнь, это место, где жить нельзя:
ев-рейский квартал...

Так не достойнее ль во сто крат
стать вечным жидом?

Ибо для каждого, кто не гад,
ев-рейский погром —

жизнь. Только выкрестами жива! —

Иудами вер!

На прокаженные острова!

в ад! — всюду! — но не в

жизнь, — только выкрестов терпит, лишь
овец — палачу!

Право — на жительство свой лист
но-гами топчу!

Втаптываю! За Давидов щит —

мечь! — В месиво тел!

Не упонительно ли, — что жид

жить — не захотел?!

Гетто избранничества! Вал и ров. —

По-щады не жди!

В сём христианнейшем из миров

поэты — жида!

Прага, 1 февраля 1924

Иловищи, 8 июня 1924

МАРИЯ ШКАПСКАЯ

1891—1952

ИЗРАИЛЮ

Не семь, не семьдесят и не семьсот —
тысячелетия ты ждешь своей Рахили,
взникающий из праха и из пыли,
взысканием отмеченный народ.
Как Агасфер идешь через пустыни,
трагическим своим путем влеком,
и полон желчи, крови и полыни
для губ твоих нескудный водоем.

Ведь дни полны, как огненная чаша.
И снова пуст твой дом и обезлюден кров,
и дождь по-прежнему уныло каплет
над кущами украинских садов,
где в дни погромов прячут вдоль канав
головки темные измученные дети —
наследники страдания и прав,
еще непрореченных в Назарете.
Ты меру мер собираешь в свой ковчег,
о граде видимом так яростно тоскуя,
и чем безумней дней палящих бег,
тем жарче жертвенная аллилуйя.

А мы, наследники других времен и славы,
потомки рас невзысканных судьбой,
завистливо, тревожно и лукаво
склоняемся перед тобой.

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

1891—1967

«ЗА ТО, ЧТО ВСЕ ЧЕРТЫ ЭСФИРИ»

За то, что все черты Эсфири,
как горечь померанца, как мечту,
ты сохранила в том холодном мире,
где птицы замерзают на лету.

За то, что с нами знается тревога,
за то, что с нами знается луна,
за то, что есть тернистая дорога
и что слеза не в меру солона.

За то, что девушек отличен наших волос,
не те глаза и выговор не тот,
нас больше нет... Остался только холод,
трава кусается и камень жжет.

«БРОДЯТ РАХИЛИ, ХАИМЫ, ЛИИ»

Бродят Рахили, Хаимы, Лии,
как прокаженные, полуживые.
Камни их травят. Слепы и глухи,
бродят, разувшись пред смертью, старухи.
Бродят младенцы, разбужены к ночи.
Гонит их сон, земля их не хочет.
Горе! Открылась старая рана —
мать мою звали по имени Ханна.

1940

«В ЭТО ГЕТТО ЛЮДИ НЕ ПРИДУТ»

...В это гетто люди не придут.

Люди дышат где-то. Ямы тут.

Где-то и теперь несутся дни.

Ты не жди ответа — мы одни —

потому что у тебя беда,

потому что на тебе звезда,

потому что твой отец другой,

потому что у других покой.

1944

БАБИЙ ЯР

К чему слова и что перо,

когда на сердце этот камень,

когда, как каторжник ядро,

я волочу чужую память?

Я жил когда-то в городах,

и были мне живые милы, —

теперь на тусклых пустырях

я должен разрывать могилы,

теперь мне каждый яр знаком,

и каждый яр теперь мне дом.

Я этой женщине любимой

когда-то руки целовал,

хотя, когда я был с живыми,

я этой женщины не знал.

Мое дитя! Мои румяна!

Моя несметная родня!

Я слышу, как из каждой ямы

вы окликаете меня.

Я говорю за мертвых: встанем,
костями застучим туда,
где дышат хлебом и духами
еще живые города.

Задуйте свет.

Спустите флаги.

Мы к вам пришли,
не мы — овраги.

1944

СТИХИ НЕИЗВЕСТНЫХ ПОЭТОВ

«ВОТ РВЕШЬСЯ ТЫ»

Вот рвешься ты, единственная нить, —
и мне тебя не пережить, конечно.
Как эти две звезды соединить —
пятиконечную с шестиконечной?
Две боли. Два задания.
Жизнь идет, —
и всё вокруг становится неважным.
Жида и коммунисты,
шаг вперед!
Я выхожу. В меня стреляйте дважды.

ЕВРЕИ

1

«Евреи хлеба не сеют.
Евреи в лавках торгуют.
Евреи раньше лысеют.
Евреи больше воруют.

Евреи люди лихие,
они солдаты плохие:
Иван воюет в окопе,
Абрам торгует в райконе».

Я всё это слышал с детства
и скоро совсем постарею,
и всё никуда не деться
от крика: «Евреи, евреи!»

Не воровавши ни разу,
не торговавши ни разу,
несу в себе, как заразу,
проклятье гонимой расы.

Пуля меня миновала,
чтоб говорилось нелживо:
«Евреев не убивали!
Все воротились живы!»

2

А нам, евреям, повезло.
Не прячась под фальшивым флагом,
на нас без маски лезло зло, —
оно не притворялось благом.

Еще не начинались споры
в торжественно-глухой стране,
а мы, припертые к стене,
в ней точку обрели опоры.

עיריית חיפה
מערכת תרבות הפנאי
מרכז תרבות לעולים
בית ארדשטיין - ספריה
מס. מלאי.....

**ТЕКСТЫ СТИХОТВОРЕНИИ ВЗЯТЫ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ
ИСТОЧНИКОВ:**

Маргарита Алигер, «Мама, мама, ни слезы, ни слова» —
Из рукописи.

Нюрнберг — Из сборника «Несколько шагов», изд.
«Советский писатель», Москва 1964, стр. 75.

Павел Антокольский, Лагерь уничтожения, П. А. Из-
бранное, изд. «Молодая гвардия», 1946, стр. 174.

Две главы из поэмы «Сын», там же, стр. 223.

Теряются следы, «Знамя» 1946, 7, стр. 64—65.

Эдуард Багрицкий, Дума про Опанаса, Э. Б. Стихи и
поэмы. Изд. «Художественная литература», Москва,
1964, стр. 373.

Иосиф Бродский, «Еврейское кладбище около Ленин-
града», Стихотворения и поэмы, Нью-Йорк—Вашинг-
тон, 1965, стр. 54—55.

Исаак и Авраам (из поэмы), там же, стр. 137—152.

Валерий Брюсов, Библия, Избранные стихи, изд. «Ака-
демия», 1933, стр. 500—502.

Иван Бунин, «Да исполнятся сроки», «Еврейская
жизнь» 3.4.1916, 14—15, стр. 13.

Иерусалим, И. Б. Избранные стихи, изд. «Современ-
ные записки», Париж, 1929.

«На пути под Хевроном», там же, стр. 48.

Гробница Рахили, там же, стр. 49.

Долина Иосафата, там же, стр. 64.

Ася Векслер, «Падали, не дойдя до конца». Юность, март 1968, стр. 10.

Евгений Винокуров, Адам, Библиотека избранной лирики, изд. «Молодая Гвардия», 1955, стр. 24.

Андрей Вознесенский, Зов озера, День поэзий, изд. «Советский писатель», Москва, 1966, стр. 61.

Александр Галич, Поезд. А. Г. Песни, изд. «Посев», Франкфурт/М, Германия, 1969, стр. 87.

Евгения Гинзбург, «И вновь, как седые евреи», Крутой маршрут, Милан, 1967, стр. 259.

Григорий Глазов, На Отто Гротевольштрассе, Юность, октябрь 1969, стр. 36.

Николай Гумилев, Красное море, Н. Г. Собрание сочинений, том второй, Вашингтон 1964, стр. 72.

Олег Дмитриев, Турист в Освенциме, Юность, октябрь 1967, стр. 74.

Евгений Евтушенко, Бабий Яр, из сборника «После Сталина», Диспетчер света Е. Е. Братская ГЭС, изд. «Советский писатель», Москва 1967.

Владимир Жаботинский, Город мира, Восход, 1898. Памяти Герцля, там же.

Л. Жданова, Расстрелянные звезды — из рукописи.

Довид Кнут, Кишиневские похороны, Д. К. Избранные стихи, Париж, 1949, стр. 107.

Рош-Пина, там же, стр. 173.

- Наум Коржавин**, «Мир еврейских местечек», День поэзии, «Советский писатель», Москва 1966, стр. 169.
Дети в Освенциме, сборник «Во весь голос»,
- Семен Липкин**, Счастливец. С. Л. Очевидец, стихотворения разных лет, изд. «Советский писатель», Москва, 1967, стр. 68, Роса, там же, стр. 37.
На Тянь-Шане, там же, стр. 7.
Богородица, там же, стр. 32.
Вильнюсское подворье, там же, стр. 133.
Улица у канала, там же, стр. 145.
Союз, «Москва», декабрь 1968, стр. 197.
- Марк Лисянский**, Алые маки, Юность, апрель 1968, стр. 3.
- Владимир Лифшиц**, Датская легенда, Новый мир, апрель 1967, стр. 100.
- Маген**, Двум странам, из рукописи. «Нет, я не стану вешаться» — из рукописи.
- Осип Мандельштам**, «Жил Александр Герцович», О. М. Собрание сочинений, том первый «Международное литературное содружество», 1967, Вашингтон, стр. 162.
- Самуил Маршак**, Палестина, Еврейские мотивы, сборник сионистских стихотворений, изд. Бецалела Яффе, Гродно.
- Иерусалим**, «Сафрут», литературно-художественный сборник, Берлин 1922, стр. 175.
Последнее слово (из Х. Н. Бялика с идиш).
- Мать Мария** (Елизавета Кузьмина-Караваева) «Два треугольника — звезда».

Муза диаспоры (Избранные стихи зарубежных поэтов), изд. «Посев», Франкфурт/Майн, стр. 214.

Владимир Маяковский, Еврей, В. М. Сочинения в одном томе, изд. «Художественная литература», Москва 1941, стр. 131.

Христофор Коломб, там же, стр. 230.

Лев Мей, Жиды. Полное собрание сочинений, СПб 1911, т. 1, стр. 127.

Семен Надсон, «Я рос тебе чужим, отверженный народ». С. Я. Надсон, полное собрание стихотворений, «Советский писатель», Москва — Ленинград, 1962, стр. 284.

Лев Озеров, Снова у Бабьего Яра, из рукописи.

Михаил Светлов, Стихи о ребе. М. С. Избранные стихи, изд. «Федерация», Москва, 1932, стр. 137.

Хлеб, там же, стр. 104.

Под вечер, там же, стр. 85.

Еврей-земледелец, там же, стр. 78

Илья Сельвинский, Я это видел И. С. Лирика, изд. «Художественная литература», Москва 1964, стр. 249.

Страшный суд, там же, стр. 427.

Борис Слуцкий, Как убивали мою бабушку? Б. С. Книга стихов, «Советский писатель», Москва 1964, стр. 93.

«Отягощенный родственными чувствами», там же, стр. 95.

Березка в Освенциме, там же, стр. 133.

Владимир Соловьев, В землю обетованную, Стихотворения и шуточные пьесы, Мюнхен, 1969, стр. 85—86.

Д. Сэтер, Сруль, Придет весна моя. Стихи советского еврея, изд. «Ам овед», Тель-Авив, стр. 21.

Сказочный принц, там же, стр. 41.

Почтовая марка, там же, стр. 55.

К сабре, там же, стр. 110.

Иосиф Уткин, Повесть о рыжем Мотэле (отрывки из поэмы). И. У. Стихотворения и поэмы, «Сов. писатель», Москва — Ленинград, 1966, стр. 267.

Семен Фруг, Еврейская мелодия, Полное собрание сочинений, т. 1, Одесса 1913, стр. 149—150.

9-ое Аба, С. Ф. Полное собрание сочинений, т. 3, Одесса 1913, стр. 375—377.

Сеятелям, там же, т. 1, стр. 148.

Марина Цветаева, Израилю, Современные записки. «За городом! Понимаешь?» (из «Поэмы конца»). М. Ц. Избранные произведения, «Советский писатель», Москва — Ленинград, 1965, стр. 471.

Мария Шкапская, Израилю, Барабан строгого господина, Берлин, 1922, стр. 55—57.

Илья Эренбург, «За то, что все черты Эсфири» — из рукописи.

«Бродят Рахили, Хаимы, Лии», И. Э. Собрание сочинений, изд. «Художественная литература», Москва 1964, том третий, стр. 435.

«В это гетто люди не придут», там же, стр. 456.

Бабий Яр, там же, стр. 455.

Неизвестные поэты

«Вот рвешься ты» — из рукописи. Евреи, Советская потаенная муза, Мюнхен, 1961, стр. 135.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Тамара Должанская	5—32
На одной волне — вступительная статья	
Маргарита Алигер	33—39
«Мама, мама, ни слезы, ни слова!» (из поэмы «Твоя победа») Нюрнберг	
Павел Антокольский	40—48
Лагерь уничтожения Из поэмы «Сын» 1. «Ты может быть, встречался» 2. «Ответьте, суша и моря» «Теряются следы»	
Эдуард Багрицкий	49—58
Дума про Онанаса (из поэмы) Разговор с сыном	
Ефрем Баух	59—60
«Он лепил хлеб из песка»	
Иосиф Бродский	61—70
«Еврейское кладбище около Ленинграда» Исаак и Авраам (из поэмы)	
Валерий Брюсов	71—72
Библия	

Иван Бунин	73—77
Да исполнятся сроки Иерусалим Огненный столп «На пути под Хевроном» Гребница Рахили Долина Иосафата	
Ася Векслер	77
«Надали, не дойдя до конца»	
Евгений Винокуров	78
Адам	
Андрей Вознесенский	79—81
Зов озера	
Александр Галич	82—83
Поезд	
Евгения Гинзбург	84
«И вновь, как седые евреи»	
Григорий Глазов	85—86
На Отто-Гротевольштрассе	
Николай Гумилев	87—88
Красное море	
Олег Дмитриев	89—90
Турист в Освенциме	
Евгений Евтушенко	91—99
Бабий Яр Диспетчер света (из поэмы «Братская ГЭС»)	

Владимир Жаботинский	100—104
Город мира Памяти Герцля	
Л. Жданова	105
Расстрелянные звезды	
Довид Кнут	106—109
Кишиневские похороны Рош-Пина	
Наум Коржавин	110—111
«Мир еврейских местечек» Дети в Освенциме	
Семен Липкин	112—118
Счастливец Роса На Тянь-Шане Богородица Вильнюсское подворье Улица у канала Союз	
Марк Лисянский	119
Алые маки	
Владимир Лифшиц	120—121
Датская легенда	
Маген	122—123
Двум странам «Гдет, я не стану вешаться»	
Осип Мандельштам	124
«Жил Александр Герцович».	

Самуил Маршак

125—135

Палестина

1. «Когда в глазах темно от горя»
2. «Как странно, что поток бурливый»
3. «Иду за первым караваном»
4. «Но те, что в край обетованный»
5. «Мы жили лагерем».

Иерусалим

Последнее слово (из Х. Н. Бялика / с идиш)

Мать Мария

136

«Два треугольника — звезда»

Владимир Маяковский

137—148

Еврей

Христофор Колумб

Лев Мей

149

Жида

Семен Надсон

150

«Я рос тебе чужим, отверженный народ»

Лев Озеров

151

Снова у Бабьего Яра

Михаил Светлов

152—169

Стихи о ребе :

1. «Осень в кучи листья собирает»
2. «Много дум на лице у ребе»
3. «Покорились и согнулись плечи»
4. «Повстречался недавно с ребе».

Хлеб (из поэмы)

Под вечер

Еврей-земледелец

Илья Сельвинский	170—174
Я это видел Страшный суд	
Борис Слуцкий	175—178
«Как убивали мою бабу?» «Отягощенный родственными чувствами» Березка в Освенциме	
Владимир Соловьев	179—180
В землю обетованную	
Д. Сэтер	181—186
Сруль Сказочный принц К сабре Почтовая марка	
Иосиф Уткин	187—195
Повесть о рыжем Мотэле (отрывки из поэмы)	
Семен Фруг	196—200
Еврейская мелодия Кедры Ливана Девятое аба Сеятелям	
Марина Цветаева	201—202
Израилю «За городом! Понимаешь?» (Из «Поэмы конца»)	

Мария Шкапская	203
Израилю	
Илья Эренбург	204—206
«За то, что все черты Эсфири»	
«Бродят Рахили, Хаимы, Лии»	
«В это гетто люди не придут»	
Бабий Яр	
Стихи неизвестных поэтов	206—207
«Вот рвешься ты»	
Евреи :	
1. «Евреи хлеба не сеют»	
2. «А нам, евреям, повезло».	

БИБЛИОТЕКА "АЛИЯ"

- 1—2. Леон Юрис: **ЭКСОДУС**
3. Др. А. И. Кауфман: **ЛАГЕРНЫЙ ВРАЧ**
4. Сарра Нешамит: **ДЕТИ С УЛИЦЫ МАПУ**
5. Арие (Лева) Элиав: **НАПЕРЕГОНКИ
СО ВРЕМЕНЕМ**
6. Др. Е. Хисин: **ДНЕВНИК БИЛУИЦА**
7. Макс Брод: **РЕУБЕНИ, КНЯЗЬ ИУДЕЙСКИЙ**
8. **6 000 000 ОБВИНЯЮТ**
(Процесс Эйхмана)
9. А. И. Гешель: **ЗЕМЛЯ ГОСПОДНЯ**
10. **НА ОДНОЙ ВОЛНЕ: Еврейские мотивы
в русской поэзии**
11. Натан Альтерман: **СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДО**